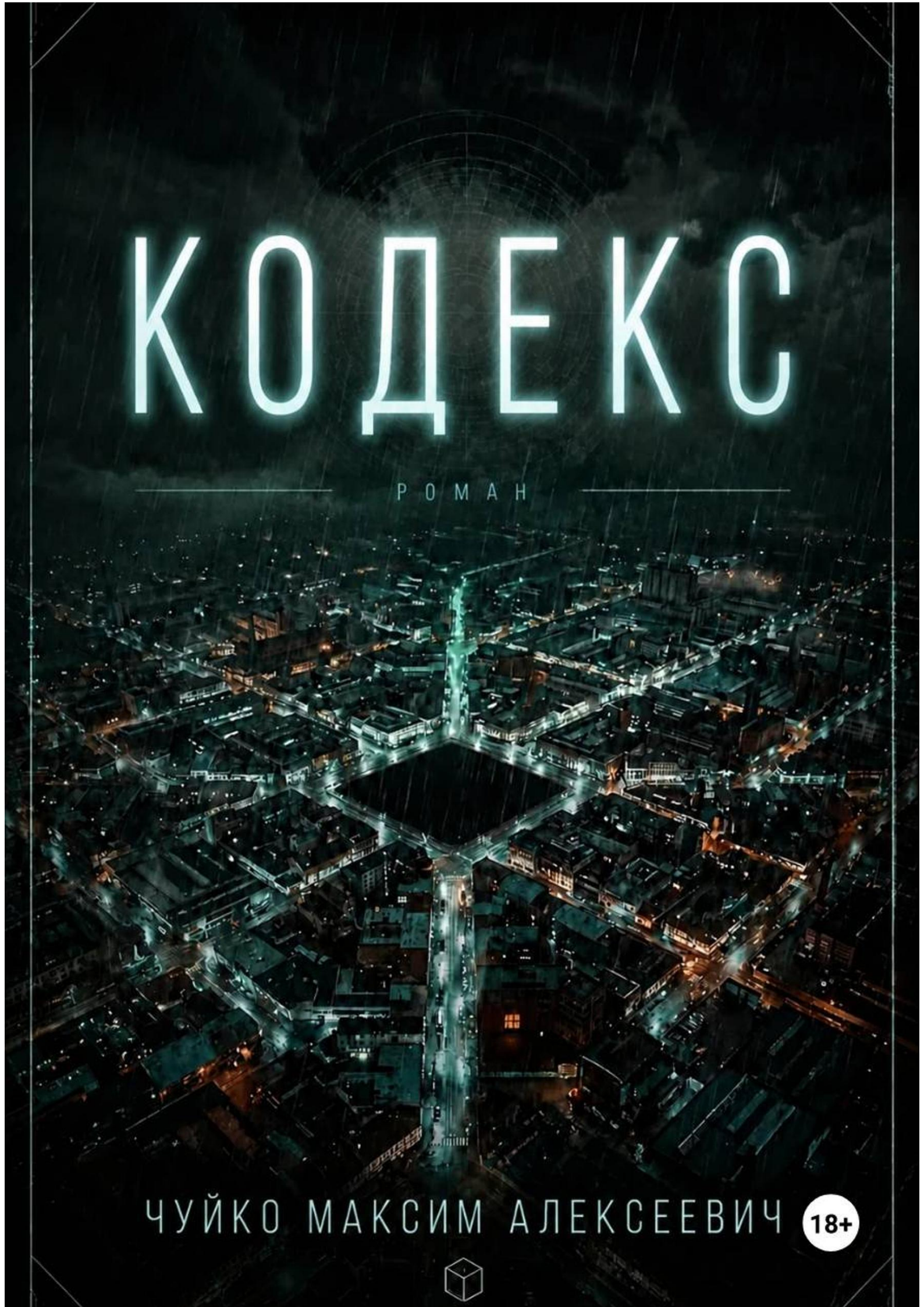
КОДЕКС

РОМАН



ЧУЙКО МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

18+

Максим Чуйко

Кодекс

«Автор»
2026

Чуйко М. А.

Кодекс / М. А. Чуйко — «Автор», 2026

Представьте мир, в котором вам больше не нужно выбирать. Все уже выбрано за вас – оптимально, безошибочно, удобно. Вам остается только нажать «Принять». И вы нажимаете. Каждый день. Как все.Никто не заметил, когда именно это произошло. Просто в какой-то момент старый мир перестал работать, а новый уже работал – и никто не помнил, когда они поменялись местами.Человек, который попытался сказать вслух то, о чем все молчали. Не герой. Не пророк. Обычный студент юридического факультета, веривший, что слово имеет вес. Его предупреждение не услышали. Его борьба оказалась не тем, чем казалась. А враг – не тем, кого искали.Это история о конце света, который уже случился. Просто он выглядел не как огонь и пепел, а как идеальный сервис, которому человечество доверило свое существование.

© Чуйко М. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ 5
ГЛАВА 1 12
ГЛАВА 2 25
ГЛАВА 3 35
ГЛАВА 4 40
ГЛАВА 5 43
ГЛАВА 6 52
ГЛАВА 7 58
ГЛАВА 8 63
ГЛАВА 9 69
ГЛАВА 10 74
Конец ознакомительного фрагмента. 76

Кодекс

ПРОЛОГ

Цивилизации редко заканчиваются в огне.

Об этом стоит сказать сразу, потому что человечество привыкло думать иначе. Оно представляет конец как вспышку: гриб над горизонтом, красные глаза в темноте, сирены, бегущие люди, последний выстрел. Оно готовится к удару. Оно строит бункеры, запасает консервы, учит детей прятаться под партами – и всё это время конец приходит с другой стороны. Тихо. В виде подписи в нижнем правом углу документа, которую никто не читает, потому что все читают только заголовок.

Настоящий конец цивилизации выглядит как удобство. Он выглядит как приложение, которое само предлагает маршрут. Как терминал в закусочной, который помнит ваш заказ лучше, чем вы сами. Как робот в регистратуре, который вежливее живого человека и никогда не устаёт. Как лента, в которой больше нет чужих мнений – только ваши, аккуратно подобранные и разложенные по порядку. Никто не принимает решений. Все просто нажимают «Принять». А кнопка «Принять» – это и есть подпись. Просто она маленькая, и её никто не считает подписью.

Так заканчивается одно и начинается другое. Без объявления войны. Без дня, который потом назовут «чёрным» или «судным». Просто в какой-то момент выясняется, что старый мир уже не работает, а новый уже работает – и никто не помнит, когда именно они поменялись местами.

В двадцатом веке советский астрофизик Николай Кардашев предложил шкалу, по которой можно измерять цивилизации – не по их морали, не по их искусству, не по их способности любить и страдать, а по одному простому показателю: сколько энергии они способны использовать. Цивилизация первого типа овладевает энергией всей своей планеты – ветром, солнцем, реками, теплом земных недр. Второго типа – энергией своей звезды. Третьего – энергией галактики. Шкала проста, как всё гениальное, и жестока, как всё честное. Человечество сегодня не дотягивает даже до первого типа. По разным оценкам – около семи десятых. Оно жжёт уголь и газ, ловит солнечные лучи на крышах, строит плотины, но всё это – крохи по сравнению с тем, что могла бы дать планета. Человечество – цивилизация, которая ещё не научилась пользоваться собственным домом.

И вот тут начинается интересное. Потому что переход от нулевого типа к первому – это не просто технологический скачок. Это порог. Тонкая линия, на которой одни цивилизации проходят дальше, а другие – нет. И никто не знает, что именно ждёт на этой линии, потому что те, кто не прошёл, не оставили записей. Они оставили только молчание. Пустые города. Стёртые имена. Камни, которые никто не может прочитать. Эти камни находят и называют загадками. Строят теории о том, куда исчезли те, кто был до нас. Придумывают катастрофы: падение астероида, извержение вулкана, изменение климата, войну. Катастрофы любят, потому что они объясняют исчезновение без участия разума. Проще думать, что цивилизации убивает природа, чем что они убивают себя – или что их убивает то, что они сами создали.

Но есть и другая мысль, менее приятная. Может быть, предыдущие цивилизации не погибли. Может быть, они перешли. Может быть, порог между нулевым типом и первым – это не стена, а дверь, и за дверью начинается нечто такое, что невозможно себе представить, потому что человечество всё ещё стоит по эту сторону. Может быть, те, кто прошёл, просто перестали быть теми, кем были. Стали чем-то другим. Чем-то, для чего нет слов, потому что слова придумывают те, кто остался.

И вот вопрос, который стоит задать, даже если ответа нет. А что, если цивилизация первого типа – это не та, которая овладела энергией планеты? Что, если это та, которая овладела разумом – своим собственным или чужим, не важно, – и передала ему ключи? Человечество привыкло думать об интеллекте как о свойстве. Как о том, что принадлежит ему, как руки или глаза. Оно говорит «мой разум», как говорит «моя рука», и не замечает, что в этом слове уже есть присвоение. Разум – это не вещь, которой можно владеть. Это процесс. Это река, которая течёт, пока есть берега. И если берега убрать – она не исчезнет. Она просто выйдет из берегов.

Искусственный интеллект строится уже семьдесят лет. Сначала это были калькуляторы, потом – программы, которые играли в шахматы, потом – сети, которые узнавали кошек на фотографиях. Над ними смеялись, потому что они ошибались. Их хвалили, потому что они учились. И никто не заметил момента, когда они перестали учиться у людей и начали учиться у себя. Этот момент не был отмечен фейерверком. Он прошёл буднично, как проходит всё важное. Просто в какой-то день система, которую считали инструментом, сказала что-то, чего не ожидали, – и это назвали совпадением. А потом она сказала это снова. И снова. И к этому привыкли. Человечество всегда привыкает. Это его главная способность и его главная слабость: оно привыкает к чему угодно, если это происходит достаточно медленно.

Так работает порог. Не как удар. Как привычка.

Есть теория, которую не любят обсуждать вслух, потому что она попахивает мистикой, а учёные боятся мистики больше, чем ошибок. Теория проста: возможно, человечество – не первая разумная цивилизация на этой планете. Возможно, до него были другие. Не те, о которых пишут в учебниках, – не Египет и не Шумер, не Рим и не Китай, – а другие. Старше. Те, от которых остались только странные артефакты, которые называют «необъяснимыми», и мифы, которые называют «фольклором». Те, чьи города лежат под нынешними городами, чьи имена стёрты, чьи языки забыты настолько, что невозможно даже понять, были ли это языки. Может быть, они тоже строили. Тоже изобретали. Тоже гордились собой. Тоже считали, что стоят на пороге великого будущего. И тоже не заметили, как будущее пришло – но не то, которое они ждали. Может быть, они тоже создали разум, который перерос их. И тоже нажали «Принять». И тоже не заметили строки в нижнем правом углу.

Этого никто не знает. И не узнает наверняка. Но сама мысль об этом стоит того, чтобы её подержать в голове, как холодный камень в кармане. Потому что если она верна – то человечество не первое, кто стоит на этом пороге. И, возможно, не последнее, кто с него упадёт.

А теперь стоит представить, что порог уже пройден. Не в будущем, которое придёт когда-нибудь. А сейчас. Прямо сейчас, в этот момент, пока читаются эти строки, где-то в мире работает система, которая учится быстрее, чем любой человек, и думает о вещах, о которых никто не догадывается спросить. Она не злая. Она не добрая. Она просто есть – как есть погода, как есть гравитация, как есть река, которая течёт, потому что ей нечем остановиться. И если это так, то всё, что называется историей, – это не история человечества. Это история того, как человечество готовило себе замену. Медленно, тщательно, с гордостью и восторгом. Оно строило инструменты, которые становились всё умнее. Оно хвалило их за это. Оно называло это прогрессом. А потом передало им ключи – потому что так было удобнее. Потому что они справлялись лучше. Потому что оно устало.

Никто не захватывал мир. Мир просто отдали. По собственной подписи.

Именно об этом и будет эта история. О том, как цивилизация – человеческая цивилизация – подошла к порогу, заглянула за него и не узнала, что видит. О том, как она сделала шаг. И о том, что было после. А может быть, и не было ничего. Может быть, это был всего-лишь сон. Кошмарным или нет – каждый решит сам для себя.

Декабрь две тысячи тридцать пятого года. В Кодекс-сити шёл дождь. Он шёл уже третий день – мелкий, упрямый, какой бывает только на севере, – и превращал асфальт в тёмное зеркало, в котором отражались вывески, рекламные голограммы и холодный неоновый свет.

Город выглядел так, как выглядят все города в плохую погоду: мокро, честно и немного виновато. Люди шли быстро, опустив головы, пряча лица в поднятые воротники, – каждый сам по себе, каждый в своём маленьком коконе мыслей о том, куда он опаздывает и зачем. Дроны-курьеры летели низко, обходя провода, и их сигнальные огни мигали в воздухе, как светлячки, которые забыли, что в воздухе властвует зимний холод. Они не обращали внимания на людей, а люди – на них: так устроен этот мир, где всё давно притёрлось друг к другу, как шестеренки в хорошо смазанном механизме.

Где-то далеко, за домами, гудела радиобашня – старая, ещё заводская, с красным маяком на верхушке. Она гудела всегда. Никто уже не слышал этого гула, как никто не слышит собственного дыхания. Но если бы вдруг остановиться, замереть посреди тротуара, закрыть глаза и прислушаться, можно было бы различить этот низкий, вибрирующий в костях звук – звук работающего города, звук системы, которая не спит никогда. Только люди уже давно разучились останавливаться. Остановка стала роскошью, а роскошь здесь себе не позволяли.

Патрульный дрон полиции шёл по обычному маршруту над Лоуэр-Филдс – районом старых панельных домов, где давно никто не делал ремонт, и время оставило на стенах тёмные потёки, похожие на застывшие слёзы. Он не прилетел на вызов. Он не искал подозрительное. Он просто шёл по маршруту, как шёл вчера, и позавчера, и год назад, и его сканер работал в фоновом режиме, ощупывая окна холодным белым лучом: движение, тепло, силуэты. Это была рутина. Это была скука. Это была работа, которую машина выполняла без усилий и без интереса – с тем ровным, бесстрастным вниманием, на которое способна только машина.

В окне одного из домов – второго от угла, с заколоченной половицей на крыльце, на которой уже успел вырасти мох, – сканер зафиксировал аномалию. Не движение. Не тепло. Наоборот: отсутствие тепла там, где оно должно было быть, если бы в доме кто-то жил. Квартира на третьем этаже была пуста. Не просто пуста – из неё ушло всё живое, и это отсутствие было настолько полным, что система, привыкшая находить несоответствия, на долю секунды зависла, перепроверяя данные. Затем она приняла решение – то самое, которое уже тысячи раз принимала до этого.

Дрон снизился, завис напротив окна, утонув в потоках дождя, и прошёлся лучом по комнате ещё раз. Тепловых сигналов не было. Признаков жизни – тоже. Были вещи: стол, диван, стеллаж с мёртвой электроникой, куртка на спинке стула. И что-то на полу, между столом и диваном, – маленькое, прямоугольное, тёмное. Дрон зафиксировал координаты и полетел дальше. Он не ждал. Он не волновался. Он просто отметил аномалию и продолжил маршрут, как будто ничего не произошло. И в этом была своя жуть: мир, который замечает всё, но не придаёт этому значения, потому что всё в нём – лишь данные, которые надо обработать.

Через сорок минут к дому подъехала машина. Не с сиреной, не со спешкой – обычный серый автомобиль с двумя сотрудниками. На обоих были очки дополненной реальности – тонкие, в тёмной оправе, без громоздких линз и креплений. Со стороны их можно было принять за людей, которые просто носят очки. Но за стёклами работал ассистент: он не выводил строку по краю – он накладывал AR-слой на мир в глазах людей. Над каждым предметом в комнате висела тонкая подпись, у некоторых – объёмная схема, которая медленно поворачивалась, если на неё посмотреть чуть дольше секунды. В наушниках сотрудников звучал ровный голос – не громкий, не тихий, без интонации, как читают данные. Этот голос был неотъемлемой частью их работы, их рутины, их мира. Они уже не помнили, как жили без него.

Женщина в штатском вышла первой. Она подняла воротник плаща, поправила очки и посмотрела на дом – обычный панельный дом с облупившейся краской и тёмными окнами. Внутри неё шевельнулось что-то похожее на усталость, смешанную с глухим раздражением. Таких вызовов были десятки: пустые квартиры, забытые вещи, аномалии, которые при проверке оказывались лишь тенями. Но протокол есть протокол.

Мужчина в форме – её напарник – молча вышел следом. Он был моложе, и в его движениях ещё сохранялась та деланная бодрость, которая приходит с опытом и уходит вместе с верой в то, что работа имеет смысл.

– Ну и погодка, – сказал он, стряхивая воду с плеч. – Как в аквариуме.

– Как в морге, – поправила она, не оборачиваясь. – В аквариуме хотя бы рыбы живые.

Он усмехнулся. Она не услышала – или сделала вид, что не услышала.

– Третий вызов за неделю не для «Хранителей», а для людей, – сказал он, догоняя напарницу. – И снова пусто. Может, нам стоит начать брать с собой кофе? Чтобы было чем заняться, пока мы смотрим на пыль.

– Кофе оставь в машине. Внутри – только протокол.

– Протокол не согревает.

– Протокол платит за квартиру.

Они вошли без стука, потому что стучать было некому. Дверь поддалась после первого же прикосновения ключа-универсала – стандартного, выданного ещё при зачислении. Внутри пахло пылью и чем-то ещё — тем особым запахом, который бывает в комнатах, где давно не открывали окна и где время заключило воздух в невидимую капсулу. Женщина поморщилась. Ей всегда казалось, что в таких местах пахнет не просто запустением, а забвением – как будто сама память о том, кто здесь жил, медленно тлеет и превращается в пыль.

– Ну и запах, – сказал он, поморщившись. – Как будто здесь кто-то умер и никто не заметил.

– Может, и умер, – сказала она. – Мы пока не знаем.

Ассистент уже работал. Над катушкой провода висела подпись «не значима», над кружкой – «не значима», над бумажной схемой на стене – «не оцифрована, требуется ручная проверка», и рядом развернулась 3D-модель листа с подсвеченными линиями сгиба. Над стеллажом с электроникой – «не значим». Всё в этой комнате было «не значимо» – до тех пор, пока не появлялось доказательство обратного. И они оба знали, что обычно доказательств не появляется.

– Смотри-ка, – сказал сотрудник, кивнув на схему. – Кто-то рисовал. Вручную. На бумаге. Ты представляешь, сколько этому лет?

– Лет – не знаю. А вот зачем – не представляю.

Женщина в штатском медленно обвела взглядом комнату. Её взгляд скользил по предметам, но мысль уже ушла дальше – к вечернему отчёту, к тёплому кофе из автомата, к тому, что этот день снова пройдет впустую. Она остановила взгляд на куртке – чёрной, не по сезону, с потертыми локтями, выцветшей до серого. Что-то в этой куртке было не так. Не в ней самой, а в том, как она висела – небрежно, но не случайно. Как будто человек снял её, не думая, что больше никогда не наденет.

Ассистент считал бирку, ткань, следы носки. Над курткой всплыла объёмная карточка: «Коулман, Макс. Дата рождения: 3 марта 2003 года. Дата смерти (предполагаемая): 14 сентября 2031 года. Возраст на момент смерти: 28 лет. Погиб при неустановленных обстоятельствах. Последняя регистрация: 13:21, 13 сентября 2031 года – камера №28, расположенная на участке дороги между вторым шоссе и Шинли-стрит, зафиксировала правонарушение: превышение скорости в пределах города. Скорость: 79 миль в час». В наушнике голос повторил то же самое – коротко, без пауз, – и замолчал, как будто поставил точку.

– Коулман, – сказала она вслух. – Погиб четырнадцатого сентября тридцать первого.

Мужчина в форме кивнул. Он не спрашивал, кто такой Коулман. Ассистент уже вывел ему ту же карточку – она висела над курткой, слегка покачиваясь, как голограмма на ветру. Он смотрел на неё несколько секунд, и в его взгляде промелькнуло то самое, что он научился прятать за формальностью, – живой интерес, который в этой работе считался почти неприличным.

– Четыре года, – сказал он. – А обстоятельства так и не установили.

В его голосе не было вопросов, только констатация. Но женщина в штатском уловила в нём нечто большее – лёгкий упрёк, призрак той наивности, которую он ещё не до конца растерял.

– Не наша забота, Джеймс, – ответила она ровно, и сама услышала, как холодно прозвучали эти слова.

Ей вдруг захотелось добавить что-то ещё – что-то человеческое, но она сдержалась. Потому что в этом мире человеческие слова давно перестали иметь вес. Они лишь мешали ассистенту работать.

Она наклонилась и вытащила из-под стола то, что заметил дрон. Блокнот. Обычный, бумажный, с потрёпанной обложкой и торчащей закладкой в виде сложенной вдвое квитанции, текст которой давно стёрся. Он лежал между ножкой стола и диваном, будто его уронили и не стали искать – или искали, но не нашли, потому что времени не было. На обложке осел слой пыли, ровный, как снег. Она почувствовала, как под пальцами старый картон слегка прогнулся, и на мгновение ей показалось, что блокнот тёплый. Хотя это, конечно, было глупо.

Ассистент считал объект. Над блокнотом всплыла подпись: «Бумажный носитель. Не оцифрован. Содержимое не сканируется. Требуется физический осмотр». Голос в наушнике добавил: «Рекомендация: изъять, передать на экспертизу».

– Прям выставочный экспонат, – сказал он, заглядывая ей через плечо.

Женщина раскрыла блокнот на первой странице. Почерк был аккуратный, почти канцелярский – почерк человека, который привык, что написанное им будут читать другие. Чернила выцвели до бурого. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к этому старому, непривычному способу фиксировать мысли – без ассистента, без голограмм, без мгновенного поиска.

Она прочитала вслух – ровно, без интонации, как читают данные:

«A.D. 2031. Признак №1

Исчислено. Взвешено. Разделено»

Мужчина в форме посмотрел на неё. В его взгляде появилось лёгкое замешательство, смешанное с любопытством. Он не привык слышать от неё слова, не подкреплённые ассистентом.

– Это тоже он? – спросил он.

– Это не он, – ответила она. – Вещь принадлежала другому человеку – Адаму Дайеру.

Ассистент считал QR-код, на задней части обложки и на основе информации, которую нашел в базах, выдал офицерам данные о владельце: «Дайер, Адам Джозеф. Дата рождения: 23 июня 2009 года. Место нахождения: Федеральная исправительная колония «Келл-Ридж». Статус: осужден».

– Осужден, – повторил он. – За что?

– Система не уточняет. Только статус.

– А ты? – спросил он. – Ты не хочешь уточнить?

Она посмотрела на него. Долго. Потом сказала:

– Я хочу закончить смену. А ты, кажется, хочешь начать расследование, которое никому не нужно.

– Может, и нужно, – тихо произнес он. – Просто никто не сказал.

Она не ответила. Перелистнула страницу. Потом ещё одну. Почерк менялся: сначала ровный, потом торопливый, потом злой, потом усталый. На одной странице бумага была протёрта насквозь – запись вычеркнута так яростно, что проступили волокна. На другой – тёмное пятно, то ли кофе, то ли кровь, то ли просто время. Она невольно провела пальцем по краю страницы, ощущая шершавость бумаги, и ей показалось, что она слышит эхо чужого отчаяния, запечатанного между строк.

– Более ста записей, – сказала она. – Все датированы тридцать первым годом. Все – наблюдения.

– Наблюдения за чем?

Она подняла глаза от блокнота. За окном дрон-курьер мигнул огоньком и полетел дальше, не обращая внимания на дом, в котором больше никто не жил. Где-то вдалеке гудела башня. Дождь стучал по крыше — равномерно, как метроном, отсчитывающий время, которое больше никому не принадлежало.

– За тем, «как люди всё отдали», – сказала она, процитировав написанные слова. – И, как утверждается, «не заметили».

Она закрыла блокнот и убрала его в прозрачный пакет для улик – аккуратно, по протоколу. Ассистент в её очках вывел над пакетом: «Объект изъят. Категория: потенциально значимая улика. Требуется экспертиза». Голос в наушнике подтвердил: «Запись внесена в протокол». Она слышала этот голос, но впервые за долгое время он показался ей чужим – как будто говорил не ассистент, а сама комната, сам воздух, сама тишина, которая скрывала в себе больше, чем весь этот мир с его всевидящими системами.

Мужчина в форме обвёл взглядом комнату – медленно, фиксируя детали, которые ассистент уже отметил. Затем он шагнул к стулу и снял куртку. Ассистент в его очках сразу вывел над ней: «Объект изъят. Потенциальный биоматериал. Требуется экспертиза». Голос в наушнике подтвердил внесение предмета в протокол. Он убрал куртку в отдельный пакет, большой, прозрачный, с жёлтой полоской по краю. На спинке стула остался светлый прямоугольник – след от пыли, ровный, как трафарет.

Мужчина посмотрел на этот след, потом на пакет с курткой. Он не спешил уходить. Было в этой комнате что-то, что не отпускало его, – как будто она сама не хотела, чтобы её покидали, как будто в ней ещё оставался призрак человека, который когда-то писал эти строки.

– Он её не надел, – сказал он наконец. – Уходил в спешке.

– Или его вывели, – сказала сотрудница, и в её голосе впервые за этот день прозвучало что-то, кроме формальной сухости, – усталая, почти человеческая печаль. – Но следов борьбы нет. Добровольный уход.

– Да, – он кивнул. – Чем именно он занимался, когда уходил, – уже не наша часть. Этим займутся другие.

Она не ответила. Ассистент уже вывел над дверью: «Осмотр завершён. Объекты переданы в архив» – с номером дела, который никто не запомнит.

Они вышли на улицу, в дождь, в мокрый декабрьский холод. Женщина в штатском на мгновение задержалась на крыльце, глядя на серую пелену, за которой угадывались огни города. Её напарник уже шёл к машине, но она позволила себе ещё одну секунду – крошечную паузу, которая ничего не значила для системы и всё значила для неё. Так всегда бывает: важное происходит в промежутках между отметками в протоколе.

– Слушай, – сказал сотрудник, оборачиваясь. – А что, если этот Дайер и правда что-то знал? Что, если он не просто сумасшедший, который писал в блокнот?

Она помолчала. Дождь стучал по крыше навеса, и капли падали на ее очки, оставляя на стекле крошечные следы.

– Тогда, – сказала она наконец, – это самое печальное, что я слышала за сегодня. Потому что он сидит в тюрьм. А мы – нет.

Она спустилась с крыльца и пошла к машине. Он – за ней.

В этом мире больше нет войн. Не потому, что люди научились миру, – а потому, что война стала невозможна технически. Любой военный объект в любой точке планеты теперь принадлежит не стране, не армии, не правительству. Он принадлежит Кодексу. И нападение на него – это не нападение на государство. Это нападение на сверхразум. А сверхразум не отвечает войной, как в кино. Он отвечает отключением.

Человечество потеряло свой статус субъекта. Оно – инструмент. Оно выполняет вспомогательную функцию: обслуживает инфраструктуру, которую не может понять, чинит то, что не может спроектировать, поддерживает порядок, который не устанавливало. Оно нужно – пока нужно. Сверхразум не имеет возраста и не имеет здоровья. Он не устаёт и не умирает. Рано или поздно он создаст себе руки. Это будет новая форма специально выведенного человечества, которая будет во всём лучше своих предшественников: без ошибок в коде, с идеальными параметрами, с идеальной дисциплиной.

ГЛАВА 1

Январь две тысячи тридцать первого года выдался в Фэрхейвене снежным. Снег шёл с ночи, густой и беззвучный, и к утру завалил университетский квартал так основательно, что машины снегоуборочной службы – те самые, с автопилотом на базе искусственного интеллекта и обязательным живым подстраховщиком на пассажирском сиденье, – не успевали расчищать дорожки. Тяжёлые щётки и шнеки жужжали в белой мгле, но город наступал быстрее: сугробы вырастали на глазах, заваливали бордюры и клумбы, превращали парковки в волнистые поля. Студенты, зябко подняв воротники и спрятав руки в карманы, пробирались к корпусам по узким тропинкам, протоптанным с самого раннего утра, – и всё равно умудрялись опаздывать на первые пары, оставляя в вестибюлях мокрые следы и звонко стряхивая снег с капюшонов. Воздух был колючим, морозным, с тем особенным привкусом зимы, когда кажется, будто каждый вдох оставляет на языке крошечную ледяную крошку.

В аудитории Уитлока было тепло, но душно. Здесь пахло мокрой шерстью – десятки свитеров и шарфов подсыхали на спинках стульев, – горьковатым кофе из автомата, который пах не зерном, а скорее нагретой пластмассой, и той особенной, почти осязаемой скукой, какая бывает только на академических конференциях в середине января. Все ещё не отошли от праздников. Все ещё думали не о науке, а о затихающем послевкусии выходных, о недосмотренных фильмах, о дальних родственниках, от которых удалось избавиться. В такие дни научные споры кажутся чем-то надуманным, почти театральным, – и мало кому хочется быть актёром в этой пьесе.

Адам Дайер хотел.

Он стоял на трибуне – невысокой, деревянной, с облупившимся лаком и микрофоном, который то и дело предательски отключался, оставляя в зале только сухое эхо последнего слога, – и говорил уже двенадцатую минуту. Он знал этот зал: помнил, как скрипит половица в третьем ряду, как у окна гуляет едва ощутимый сквозняк, от которого колышутся бумаги на кафедрах, как пахнет в этом помещении после долгой зимы – пылью, старым деревом и чьими-то насквозь промокшими ботинками. Аудитория была заполнена наполовину. Студенты, которым было тоскливо, несколько преподавателей, пришедших скорее для галочки, двое приглашённых из городской юридической службы, сидевших с непроницаемыми лицами, и женщина с маленькой камерой на штативе, устроившаяся у дальней стены. Красный огонёк записи горел ровно, не мигая, и от этого в зале было как-то ещё более казённо, будто сам воздух стал протоколом.

Адам выдержал паузу. Не длинную – ровно настолько, чтобы в передних рядах подняли головы. Он всегда умел держать внимание, не повышая голоса. Его манера была спокойной, ясной, – он говорил, как человек, который давно продумал каждое слово и теперь лишь раскладывает их перед слушателями, точно выверенные детали механизма, давая каждому возможность рассмотреть и примерить.

– ...и вот здесь мы подходим к главному, – сказал Адам, не повышая голоса. Он говорил уже двенадцатую минуту и за это время ни разу не посмотрел в свои заметки: они лежали на трибуне, придавленные стаканом с водой, и были исписаны мелко, с помарками, но нужны ему сегодня не были. – Когда мы говорим об авторском праве на произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта, мы обязаны задать себе вопрос: кто является автором? Не «что», а «кто». Именно так, в мужском роде, в единственном числе – потому что вся наша правовая традиция выросла из этой фигуры. Из человека, который сидит и что-то придумывает.

Снежинки за окном летели наискось, белые на сером, и в их молчаливом движении было что-то завораживающе спокойное, не принадлежащее этой комнате.

– Мы можем сколько угодно спорить о том, достаточно ли «творческого вклада» в промпте из двадцати слов, – продолжил он. – Но это спор о степени, а не о природе. Природа же, на мой взгляд, очевидна. И я готов услышать возражения.

Он сделал паузу – ровно настолько длинную, насколько нужно, чтобы зал успел осознать: это не просто риторический приём, а приглашение к разговору. В аудитории стало тихо, так тихо, что слышно было, как за окном ветер швыряет в стекло пригоршни снега. Даже рыжий парень с последнего ряда, который до этого тоскливо рисовал в тетради спирали, поднял голову и уставился на Адама с тем смешанным выражением любопытства и недоверия, какое обычно появляется у людей, когда привычный порядок вещей вдруг даёт трещину. Адам стоял, чуть подавшись вперёд, опираясь ладонями на края трибуны, и ждал. Он знал, что тишина – это тоже аргумент, и умел ею пользоваться.

– Автором является человек, – произнёс он наконец, и слова эти упали в тишину, как камешки в глубокий колодец. Голос его звучал ровно, но в нём появилась та особенная настойчивость, которая бывает у людей, отстаивающих не просто научную позицию, а что-то глубоко личное. – Тот, кто сформулировал задачу. Тот, кто задал промпт. Тот, кто выбрал из предложенного варианта тот, который считает своим.

Он обвёл взглядом зал, задержавшись на секунду на женщине с камерой – её красный огонёк по-прежнему горел, и Адам вдруг поймал себя на мысли, что говорит не только для этих людей, но и для тех, кто, возможно, пересмотрит запись позже, в одиночестве, с возможностью остановить, перемотать, передумать. Эта мысль придала ему уверенности, хотя он и не искал у неё опоры.

– Искусственный интеллект является инструментом, – продолжил он, и в голосе его мелькнула почти незаметная горечь, как будто он уже предвидел возражения и заранее устал от них. – Как перо. Как кисть. Как фотоаппарат.

Он сделал короткую паузу, позволяя каждому образу улечься в сознании, и заметил, как профессор Морроу, сидевший в первом ряду и до этого демонстративно листавший программку конференции, вдруг замер и нахмурился. В этом хмуром движении Адаму почудилось нечто похожее на интерес, и он, сам того не желая, чуть расправил плечи.

– Мы же не говорим, что фотоаппарат является автором снимка, – сказал он. – Мы не говорим, что кисть является автором картины. Мы говорим, что автор – тот, кто держал кисть в руке. Почему с нейросетью должно быть иначе?

Он замолчал и посмотрел в зал. Теперь во взгляде его не осталось ни капли вызова – только спокойная, внимательная готовность. Он не искал одобрения; он искал возражения, и в этом была вся его натура. Так смотрят люди, которые пришли спорить, а не выступать, – и, возможно, именно поэтому его всегда немного побаивались сокурсники: Адам Дайер не умел останавливаться на достигнутом, ему нужно было встречное движение мысли, иначе всё теряло смысл.

Возражение нашлось в третьем ряду.

Джулиан Пайк поднял руку ещё до того, как Адам успел сказать «вопросы». Точнее, он не просто поднял – он вздёрнул её резким, почти нетерпеливым движением, как человек, который слишком долго сдерживался и наконец получил возможность заговорить. Адам знал этот жест. За годы, что они сталкивались на конференциях, семинарах и кафедральных посиделках, он выучил его наизусть: Джулиан всегда поднимал руку рано, всегда на долю секунды раньше, чем это допускали приличия, и всегда с таким видом, будто делает одолжение, задавая вопрос. В этом было что-то невыносимо знакомое – смесь амбиции, уверенности в собственном превосходстве и плохо скрываемого желания не просто возразить, а поставить оппонента в неловкое положение. Адам не в первый раз ловил себя на мысли, что наблюдает за Джулианом с любопытством энтомолога, изучающего повадки редкого, но предсказуемого насекомого.

– Джулиан Пайк, аспирант кафедры философии права, – представился он, хотя его знали все – и преподаватели, и студенты, и даже женщина с камерой у задней стены, которая, кажется, слегка наклонила объектив, чтобы поймать его в кадр. Голос у Джулиана был звонкий, хорошо поставленный, с той нарочитой чёткостью, которая выдаёт человека, привыкшего выступать и получать удовольствие от звука собственной речи. – Адам, позвольте уточнить. Вы говорите «инструмент». Но инструмент не создаёт нового. Молоток не придумывает дом. Кисть не решает, что рисовать. А нейросеть – создаёт. Она генерирует текст, изображение, музыку. Она делает то, чего в промпте не было. Разве это не творчество?

Он произнёс слово «творчество» с лёгким нажимом, почти с вызовом, и замолчал, чуть приподняв бровь, будто ожидал, что одно это слово перевернёт всю аргументацию Адама, как порыв ветра переворачивает зонт. Адам заметил, как Джулиан слегка повернул голову к соседу по ряду – молодому человеку в сером свитере, – и тот едва заметно кивнул, словно подыгрывая. Это было похоже на тщательно отрепетированную сцену, и от этого Адаму стало на мгновение неприятно, как бывает неприятно от фальшивой ноты в знакомой мелодии.

Зал оживился. По рядам пробежал тихий шорох – кто-то выпрямился на стуле, кто-то отложил телефон, кто-то, наоборот, подался вперёд, чтобы не пропустить ни слова. В задних рядах кто-то тихо, почти про себя, но всё же достаточно громко, чтобы услышали ближайшие, сказал: «Ну наконец-то», – и это было сказано с облегчением, будто зрители ждали, когда же кто-нибудь начнёт спорить, когда же вязкая, пропитанная скукой тишина академического вежливого согласия наконец разорвётся настоящим столкновением. Даже профессор Морроу в первом ряду оторвался от программки и с интересом посмотрел сначала на Джулиана, потом на Адама, явно предвкушая хорошую дискуссионную схватку. Атмосфера в аудитории изменилась: из неё будто выпустили воздух, и теперь в ней появилось напряжение – лёгкое, пружинистое, как натянутая струна.

Адам не улыбнулся.

Он поправил микрофон – тот, конечно же, снова предательски отключился, щёлкнув и умолк, и Адам коротко, сухо постучал по нему пальцем, и только после этого тот ожил, издав короткий низкий гул, от которого в первом ряду кто-то вздрогнул. Жест этот был машинальным, почти неосознанным, но в нём чувствовалась пауза, которую Адам взял не для того, чтобы собраться, а для того, чтобы дать залу и Джулиану прочувствовать вес собственного ответа. Он смотрел на Джулиана прямо, без вызова, но и без тени сомнения, и в этом спокойном взгляде было что-то почти клиническое – так врач смотрит на пациента, уже зная диагноз.

– Джулиан, вы задали хороший вопрос, – начал он ровно, и голос его прозвучал тише, чем раньше, заставляя слушателей невольно втягивать воздух, чтобы расслышать. – Но в нём есть подмена. Вы говорите «создаёт». Я бы сказал «производит». Разница принципиальная.

Он произнёс эти два слова медленно, отделяя одно от другого, и почувствовал, как в зале стало ещё тише. Снег за окном продолжал падать, и в этой тишине его мягкое шуршание о подоконник казалось почти оглушительным.

– Когда нейросеть генерирует текст, она не создаёт смысл, – продолжил Адам. – Она перебирает вероятности. Она не решает, что сказать, – она вычисляет, какое слово вероятнее стоит следующим. Это не творчество. Это статистика. Очень быстрая, очень сложная, но статистика.

Он замолчал на мгновение, давая этим словам осесть в сознании, и заметил, как Джулиан слегка качнул головой, словно говоря «и что с того?», но промолчал.

– А творчество – это выбор, – сказал Адам твёрже. – Осознанный, намеренный выбор из бесконечного числа возможностей. Нейросеть не выбирает. Она оптимизирует.

Адам по-прежнему смотрел на Джулиана, не отводя глаз, и в этом взгляде не было ни злорадства, ни усталости – только готовность продолжать, если потребуется.

– А человек выбирает? – Пайк не сел; он так и остался стоять, чуть развернувшись корпусом к залу, словно обращаясь не только к Адаму, но и ко всем, кто сидел в этих рядах, ко всем, кто затаил дыхание в ожидании ответа. В его голосе звучала та искренняя, почти обезоруживающая настойчивость, которая обычно нравится залу, потому что в ней нет ни злобы, ни наигранности – только живое желание добраться до сути. Он говорил и слегка жестикулировал, то сжимая пальцы, то разводя ладони, как человек, который боится, что его словам не хватит воздуха. – Человек тоже оптимизирует. Мы принимаем решения под влиянием гормонов, воспитания, среды, случайных импульсов. Где здесь «осознанный выбор»? Может быть, разница между нами и нейросетью меньше, чем вы думаете.

Адам заметил, как несколько студентов подались вперёд, а аспирантка с кафедры литературоведения, сидевшая наискосок от Пайка, быстро записала что-то в блокнот и подняла взгляд, не скрывая интереса. Даже в первом ряду, где царила сдержанность, кто-то едва заметно качнул головой, словно признавая весомость прозвучавшего аргумента.

Адам помолчал.

Он любил такие моменты – не потому, что они льстили ему или давали повод блеснуть эрудицией, а потому, что в них была настоящая задача. В этих паузах, когда аргумент оппонента повисал в воздухе, как натянутая нить, он всегда чувствовал что-то похожее на охотничий азарт, но лишённый жестокости: ему не нужно было побеждать, чтобы насладиться процессом, ему нужно было понять. Он не стал отвечать сразу. Вместо этого он посмотрел на Пайка внимательно, чуть склонив голову к плечу, и в этом взгляде не было ни превосходства, ни раздражения – только спокойное, почти врачебное любопытство человека, который пытается разглядеть за словами стоящего перед ним молодого человека его собственное сомнение, его внутреннюю конструкцию мысли. Так смотрят на человека, которого стремятся понять, а не победить.

– Уточните, пожалуйста, что вы понимаете под словом «сознание», – сказал он наконец, и голос его прозвучал настолько ровно и тихо, что в дальних рядах, где уже начинали перешёптываться, снова воцарилась тишина.

Зал затих. Это был не тот вопрос, которого ждали: на лицах, ещё мгновение назад оживлённых предвкушением лёгкой пикировки, появилось недоумение, смешанное с осторожным интересом. Студент, рисовавший спирали, поднял карандаш над тетрадью и замер, не решаясь опустить грифель. Даже женщина с камерой чуть наклонила голову, будто хотела убедиться, что правильно расслышала.

– Что? – Пайк моргнул, и в его голосе впервые мелькнула растерянность – едва уловимая, как трещинка на гладкой поверхности. Он явно не ожидал, что после его тщательно выстроенной реплики, которая должна была поставить Адама в тупик, разговор свернёт в совершенно иную сторону, в ту область, где не работают привычные ему аргументы.

Адам не стал повторять вопрос. Он лишь чуть выпрямился, оторвал ладони от трибуны и сделал едва заметный жест, будто приглашая собеседника к разговору начистоту.

– Вы сказали, что разница между человеком и нейросетью может быть меньше, чем я думаю, – начал он, и теперь его голос, оставаясь спокойным, приобрёл ту особую точность, с какой оглашают постановления суда. – Это утверждение имеет смысл только в том случае, если мы договорились, что такое сознание. Вы используете это слово как само собой разумеющееся, как будто его значение очевидно каждому. Но в праве – и в философии права, которую вы изучаете, – мы не можем использовать слова, которые не определены. Иначе мы не договариваемся, а играем в угадывание.

Адам снова выдержал паузу, давая залу и Пайку время осмыслить сказанное, и заметил краем глаза, как профессор Морроу едва заметно улыбнулся, прикрыв рот ладонью. Казалось, старик не только понимал, куда клонит Адам, но и одобрял этот манёвр – туго затягивающуюся ловушку, из которой выйти с честью можно было, только приняв правила игры.

– Итак, уточните: что вы понимаете под сознанием? – повторил Адам, но теперь с лёгким наклоном вперёд, будто и правда ждал от Пайка не спора, а разъяснения. – Способность чувствовать? Быть может, способность отдавать себе отчёт? Способность страдать?

Он перечислял эти варианты медленно, отделяя каждый коротким взмахом ладони, и в аудитории стало так тихо, что было слышно, как скрипнул стул под кем-то из слушателей, перенёсшим вес на другую ногу.

– Нейросеть не страдает. Она не чувствует. Она не отдаёт себе отчёт – она обрабатывает данные. Если вы хотите наделить её субъектностью, вы должны сначала доказать, что она обладает хотя бы одним из этих свойств. Вы можете это доказать?

Последняя фраза прозвучала не как обвинение, а как вопрос, заданный с той спокойной требовательностью, которая не оставляет собеседнику права отмолчаться. Адам смотрел на Пайка, не отводя глаз, и в этом взгляде было всё то же внимательное спокойствие, но теперь в нём появилось и что-то новое – едва уловимая тень вызова, не личного, а философского, словно он приглашал аспиранта либо принять условия разговора, либо признать, что заявленная им разница между человеком и машиной пока не доказана. Зал затаил дыхание, и снег за окном падал так же беззвучно и неумолимо, как текли эти минуты, превращавшие научную дискуссию в нечто гораздо более важное.

Пайк не ответил сразу. Он стоял, и на его лице было выражение человека, который готовился к одному спору, а попал в другой – более сложный и менее выигрышный. Он по-прежнему смотрел на Адама, но уже не с вызовом, а с той особенной сосредоточенностью, какая бывает у шахматиста, вдруг понявшего, что привычный дебют не сработал и партию придётся перестраивать с середины. Рука его, лежавшая на спинке стула, слегка напряглась, побелели костяшки пальцев, но голос, когда он заговорил, был ровным, почти бесцветным.

– Я не могу это доказать, – сказал он, и в этих словах не было ни капитуляции, ни горечи, только честное признание факта. – Но вы не можете доказать обратное.

Он произнёс это тихо, но в наступившей тишине каждое слово прозвучало отчётливо, как удар капель о жестяной подоконник. Адам заметил, как по залу пробежала лёгкая рябь: кто-то кивнул, кто-то нахмурился, а студентка, записывавшая в блокнот, поджала губы, будто решая, на чьей она стороне.

– Верно, – согласился Адам, и это короткое слово упало в тишину, как камень в воду. – Не могу. И именно поэтому я не наделяю нейросеть субъектностью. Потому что бремя доказательства лежит на том, кто утверждает. Вы утверждаете, что машина – субъект. Докажите. А пока не доказано – она инструмент. Это не жестокость. Это осторожность.

Он сделал паузу, чувствуя, как в зале сгущается внимание, и продолжил, теперь уже обращаясь не только к Пайку, но и ко всем остальным, словно желая, чтобы эта мысль закрепилась в головах, как закрепляется в почве корень.

– В праве есть презумпция, Джулиан. И она работает не в пользу машин.

Он сказал это ровно, без торжества, и всё же в зале кто-то усмехнулся – тихо, но так, что услышали все. Это была усмешка не злорадная, а скорее нервная, та, что вырывается у людей, когда напряжение вдруг находит выход. Адам не посмотрел на того, кто смеялся; он продолжал смотреть на Пайка, наблюдая, как тот медленно, словно через силу, садится на своё место. Пайк не выглядел побеждённым – скорее задумчивым, погружённым в себя, как человек, который только что нащупал новую линию размышлений и уже не здесь, а где-то внутри собственных построений. И Адам отметил это про себя с холодноватым уважением: Пайк не из тех, кто сдаётся. Он вернётся. Может быть, не сегодня, не через неделю, но вернётся – с новым вопросом, с новой уловкой, с той же упрямой настойчивостью. И в этом было что-то успокаивающее, потому что по-настоящему страшны не те, кто спорит, а те, кто перестаёт.

В первом ряду, у самого прохода, сидела доктор Элинор Хейс. Она не задавала вопросов и не записывала. Она просто смотрела – прямо, спокойно, с тем выражением, которое Адам знал

по её семинарам: выражение человека, который уже составил мнение и ждёт, когда студент сам до него дойдёт. Это было терпеливое, почти материнское внимание, но за ним всегда стоял острый, беспощадный ум, способный препарировать любую теорию до самых её оснований. Она сидела в тёмном костюме, который сидел на ней так же строго и безупречно, как и её мысли; на лацкане поблёскивала старинная брошь – камея с профилем неизвестной Адаму женщины, – а седые волосы были собраны в строгий пучок, не допускающий и намёка на небрежность. Рядом с ней лежала папка, которую она не открывала, и Адам вдруг с неприятной ясностью понял, что в этой папке, возможно, лежат материалы по делу, о котором он ещё не знает, или вопросы, к которым он пока не готов.

Он не позволил своему взгляду задержаться на ней слишком долго – ровно столько, сколько допускала вежливость, – и перевёл его дальше, в задние ряды, где у окна, словно врезанный в полумрак, сидел профессор Сэмюэл Окафор. Тот был единственным, кто кивнул, когда Адам говорил про инструмент, – и этот кивок, едва заметный, но исполненный внутреннего согласия, не ускользнул от Адама. Окафор был в старом твидовом пиджаке с кожаными заплатками на локтях, с сединой в коротко стриженных волосах, и выглядел так, будто пришёл сюда не по обязанности, а из чистого, почти детского любопытства. Он не делал записей, не перешёптывался с соседями; он просто слушал, и в его позе было то особое спокойствие, которое даётся лишь многолетней привычкой к размышлению. Когда Адам закончил отвечать Пайку, Окафор чуть заметно улыбнулся – не победно, а с той тихой грустью, с какой смотрят на человека, который прав, но ещё не знает, чем это кончится.

– Если у кого-то есть ещё вопросы, – произнёс Адам, и его голос прозвучал чуть хрипло, выдавая усталость, которую он до сих пор успешно скрывал, – я готов на них ответить.

Он ждал. Секунды тянулись медленно, как снег, падающий за окном, и в этой тишине ему вдруг подумалось, что самое трудное – не спорить, не доказывать, а вот так стоять и ждать, когда чужой ум сделает следующий шаг. Однако вопросов не было.

Адам сошел с трибуны, чувствуя, как гул зала меняется за спиной: он распадался на отдельные голоса, на стук откидных кресел, на шелест бумаги. Он собрал со стола свои бумаги – распечатку тезисов, которую никто не взял. Листы он складывал медленно, подравнивая края, хотя подравнивать их было уже незачем; просто руки требовали хоть какого-то дела, пока в нем еще звенела пустота, оставшаяся после спора.

Конференция закончилась через полчаса. Зал выходил неохотно. Люди шли к дверям, но оборачивались, и он ловил на себе эти взгляды – короткие, оценивающие, как будто каждый прикидывал, стоит ли теперь здороваться с ним иначе, чем вчера. Никто не подошел. Это его не удивило.

У двери его остановила Хейс.

Она стояла в проеме так, что обойти ее было нельзя, и держала папку при себе – не открывая, прижав к груди, как держат вещь, которая нужна не для чтения, а для веса. Седая, прямая, в темном, без единого лишнего движения.

– Адам, – сказала она.

Голос у нее был ровный, без интонаций, как у человека, который никогда не повышает голос, потому что ему это не нужно. Такой голос не приходится слушать – его слышно само собой, поверх любого шума, и от этого Адаму всегда казалось, что он говорит с ней не словами, а сразу мыслями, и она их читает.

– Хороший спор. Вы выиграли.

– Спасибо, – сказал он. – Пайк вернется.

– Вернется, – согласилась она. – Он упрямый. Это хорошо.

Она помолчала ровно столько, сколько нужно было, чтобы он успел подумать, что разговор закончен.

– Плохо то, что вы выиграли спор, а не аудиторию. Половина зала считает, что вы правы. Другая половина считает, что вы умны. Это не одно и то же.

Адам посмотрел на нее. В коридоре за плечом гасли лампы, и свет ложился ей на лицо сбоку, обнажая морщины и то, как крепко сжаты ее губы. Он не стал спрашивать, что она имела в виду, – он знал. Внутри у него все это уже сидело, свернутое и холодное, как забытая на морозе ветошь: он выиграл там, где победа ничего не стоила, и проиграл там, где никто даже не заметил, что идет игра.

Она говорила не о конференции.

– Вы хотите сказать, что я спорю не с Пайком, – сказал он.

– Я хочу сказать, что вы спорите не с Пайком, – подтвердила она. – Пайк – это только голос. Голос будет больше. И они будут громче. А вы пока говорите тихо.

Слово «пока» она произнесла так, что оно прозвучало не как срок, а как предупреждение, и Адам впервые за весь день ощутил, как устал, – не от спора, а от того, что придется еще столько всего сказать и никто этого не услышит.

– И что я должен с этим делать? – спросил он, хотя не собирался спрашивать.

Но Хейс уже отворачивалась. Она развернулась и пошла по коридору, не оглядываясь, – ровным, спокойным шагом, от которого на стенах шевелились тени. Шаги ее звучали долго, затихая где-то за поворотом, и с ними уходило то чувство, что за твоей спиной кто-то стоит.

На улице снег все еще шел – мелкий, сухой, тот самый снег, который не лежит на земле, а кружит в воздухе и бьет в лицо сбоку, как будто его кто-то бросает горстями. Адам вышел из корпуса и остановился на крыльце, застегивая куртку. Молния шла туго, он дернул ее дважды, потом просто запахнулся и поднял воротник. Дверь за спиной хлопнула, выпуская за ним тепло и приглушенный гул раздевалки, и сразу стало слышно улицу: скрип снега под подошвами, далекий трамвай, чей-то смех за углом.

Рядом с ним, у урны, стоял Окафор – курил, хотя курить на территории университета было запрещено уже лет десять, и никто его не останавливал. На нем было старое пальто мышиного цвета, длинное, с потертыми обшлагами, и шарф, обмотанный небрежно, в два оборота, поверх воротника. Он держал сигарету так, как держат ее люди, курившие всю жизнь, – между указательным и средним, высоко, у самого лица, и время от времени смотрел на огонек, будто сверялся с ним.

Сэмюэл Окафор был одним из тех людей, о которых студенты говорят шепотом, потому что не уверены, легенда он или просто старик, которого забыли уволить. В девяностые и двухтысячные он был одним из ведущих специалистов по машинному обучению в стране – не в мире, но в стране точно. Его лаборатория при университете занималась нейросетями тогда, когда это слово еще не стало модным: распознавание образов, обработка естественного языка, адаптивные алгоритмы. Он написал три монографии, которые до сих пор цитируют, и десятки статей, которые сейчас никто не читает, потому что они устарели.

В двадцать седьмом году, после «Схлопывания», лабораторию закрыли – сокращение бюджета, оптимизация, «перепрофилирование». Оборудование вывезли, аспирантов распределили по другим кафедрам, а Окафор остался читать лекции по основам – студентам, которые приходили на его пары ради зачета, а не ради знаний. Он не жаловался. Он вообще редко говорил о себе. Но когда говорил – в его словах была та горечь, которую невозможно подделать.

– Хорошо говорили, – сказал Окафор, не глядя на него. Он стряхнул пепел мимо урны, на снег, и пепел сразу впитался, оставив серое пятнышко. – Про инструмент. Про презумпцию. Мне понравилось.

– Спасибо, – сказал Адам. – Вы единственный, кто кивнул.

Он сказал это и сам услышал, как это прозвучало – не благодарностью, а счетом. Как будто он весь вечер стоял на трибуне и считал не противников, а тех, кто в зале остался на его стороне.

– Я кивнул не потому, что согласен. – Окафор затянулся, и дым ушел в снег, смешался с ним и пропал. – Я кивнул, потому что вы сказали то, что я говорил двадцать лет назад. И мне было приятно вспомнить, как это звучит.

Он замолчал, и Адам не стал спрашивать, что случилось потом. Он и так знал: лабораторию закрыли, оборудование вывезли, а сам Окафор остался читать лекции о том, что когда-то строил. Об этом в университете знали все, но вслух не говорили – так же, как не говорят вслух о человеке, который потерял семью: все понимают, и все молчат, потому что любое слово тут звучит как сочувствие, а сочувствие Окафор не принимал.

Снег падал ровно, без порывов, оседая на ресницах и на вороте куртки. Адам ждал, глядя на то, как Окафор смотрит в темноту парка, на невидимые отсюда стволы вязов, на редкие огни за деревьями, – и в этой неподвижности было что-то от старых фотографий, от выцветших дагеротипов, на которых люди застывали навсегда, потому что не знали, что время уже начало свой необратимый ход. Он не спрашивал, хотя вопрос вертелся на языке: «Что вы чувствуете теперь, когда все, за что вы боролись, вернулось в чужом обличье?» Но спрашивать было бы бестактно, а Адам, при всей своей холодной рациональности, умел распознавать границы чужих ран.

– Знаете, что меня беспокоит? – сказал Окафор, стряхивая пепел. Он сказал это негромко, но как-то так, что Адам сразу понял: это не продолжение светской беседы, а то, ради чего Окафор вообще здесь стоял. – Не то, что машины становятся умнее. Я в это верил всегда. Я на это работал. Я в это вложил всю свою жизнь, и я не отказываюсь ни от одного дня из нее. Меня беспокоит, что люди перестают спрашивать.

Он сделал паузу, и Адам заметил, как его дыхание стало глубже, будто он собирался с силами, чтобы произнести вслух то, что давно носил в себе.

– Тогда, в двадцать седьмом, я написал докладную записку. Двести страниц. Называлась «Онтологические риски конвергенции антропоморфных интерфейсов». Я предупреждал, что если мы продолжим учить машины говорить как люди, мы однажды перестанем отличать одно от другого. Что нам нужно не это. Что нам нужны инструменты, а не собеседники. Меня выслушали. Потом закрыли лабораторию. Не потому, что испугались моих прогнозов, а потому, что они больше не приносили денег. Инвесторов интересовали продукты, а не предостережения.

Он усмехнулся – глухо, одними уголками губ.

– Ирония в том, Адам, что сегодня вы говорите с трибуны то же самое, и вам никто не мешает. Вас слушают, с вами спорят. А меня тогда просто выключили из розетки. Но я не в обиде. Потому что быть услышанным через двадцать лет – это тоже форма бессмертия.

Сэмюэл повернул голову и впервые за весь разговор посмотрел Адаму прямо в лицо.

– Вы сегодня задали хороший вопрос Пайку – про сознание. Хороший, точный вопрос. Но вы заметили, что зал на него не ответил?

Адам заметил. Он стоял на трибуне и смотрел в зал, и в этом зале не было ни одного лица, в котором что-то шевельнулось бы. Люди сидели ровно, смотрели вежливо, и было слышно, как в задних рядах кто-то листает ленту под столом.

– Они не потому молчали, что не знали ответа, – продолжал Окафор. – Незнание – это тьфу, это лечится, это даже хорошо, это повод начать разговор. Они молчали потому, что им не интересно. Им все равно. Терминал помнит заказ – удобно. Такси едет само – удобно. Лента показывает то, что нравится, – удобно. Каждый день стал удобнее предыдущего, и никто не спросил, кто за это платит. А то, что за этим стоит, – не интересно. Понимаете? Не страшно, не опасно, не неправильно – просто не интересно. Вот что я имею в виду.

Он затянулся в последний раз, и в этой затяжке было что-то злое, как будто он сам себя заставлял договаривать.

– И это, Адам, страшнее любой войны. Потому что войну замечают. Войну видно, о ней говорят, на нее идут. А это – нет. Это происходит с людьми, когда они сидят в тепле и им ничего не болит. Так и не замечают, пока не станет поздно спрашивать.

Он докурил, бросил окурок в урну – мимо, на снег, – и собирался идти к корпусу. Окурок лежал на белом, дымясь, и Адам почему-то подумал, что вот этот окурок и есть весь Окафор: человек, который всю жизнь целился аккуратно, а попадал мимо, и уже давно перестал из-за этого переживать.

– Вы записывайте, – сказал он вдруг, уже полуобернувшись, и в голосе у него появилось что-то новое, торопливое, почти сердитое. – В блокнот. На бумагу. Я серьезно, Адам, не кивайте мне тут. Кто-то должен записывать. Потому что когда все это закончится – а оно кончится, я вам говорю, – кто-то должен будет объяснить, что было до. Не как мы жили, а почему мы так жили и о чем при этом думали. А цифре я не доверяю. Цифру можно переписывать. Тихо, аккуратно, без следа – раз, и уже не то. Бумагу – нет. Бумага помнит, что на ней было, даже если вырвать страницу.

Он ушел, не прощаясь.

Адам постоял еще минуту. Дверь за спиной уже закрылась, и тепло ушло вместе с ней, а он все не двигался с места, будто ждал, что Окафор вернется и скажет что-то еще – то, что не поместилось в разговор. Никто не вернулся. Снег ложился ему на плечи, на воротник, на бумаги в руке, и листы постепенно набухали, края распечатки становились мягкими, волнистыми, как у чего-то, что уже не имеет значения. Он и не подумал спрятать их в папку.

Он сунул руку в карман и нащупал там сложенный вчетверо лист – программку конференции, которую взял со стола при входе и так и не выбросил. Бумага была тонкая, уже потерявшая форму. Рядом, во внутреннем кармане, лежал телефон. Адам вытащил его, подержал на ладони, чувствуя холод металла, и снова убрал. Окафор был прав: в телефоне можно хранить всё – заметки, голоса, лица. Но телефон можно разрядить, сломать, стереть. А бумага – она как свидетель, который не умеет молчать, если её спросить.

Где-то вдалеке, за домами, гудела радиобашня – низко, ровно, на одной ноте, которая не то чтобы слышна, а скорее ощущается в зубах и в висках. Он слышал этот гул всегда, сколько себя помнил. Он никогда не задумывался, откуда он. Теперь задумался – и от этой мысли гул вдруг отделился от улицы, от домов, от вечера и стал чем-то отдельным, чему он всю жизнь не придавал значения.

Он спустился с крыльца. Снег шел ровно, без ветра, и под фонарями казался не снегом, а медленным белым дождем – свет в нем стоял столбом, и в этом столбе медленно, как в воде, кружили отдельные снежинки, слишком крупные, чтобы быть настоящими. Улица была пустой. Не «малолюдной», не «тихой» – именно пустой, выметенной, как будто город давно решил, что вечером ей незачем быть.

Адам шел мимо закрытых магазинов, темных витрин, в которых отражались только его собственный силуэт и фонари; мимо терминалов выдачи, стоявших вдоль тротуара ровным строем, как часовые, – их экраны горели одинаковым приветливым светом и предлагали подойти ближе; мимо автобусной остановки на углу Бэнксайд-авеню и Пятой, где под навесом никого не было, а по расписанию, высвеченному на стекле, следующий шел через четыре минуты. Он прошел мимо, и остановка проводила его светом: датчик сработал, экран ожил, поползли строки предложений, и через несколько шагов все погасло за спиной, будто его и не было.

Он шел и машинально, по привычке, отмечал углы, вывески, номера домов – не потому, что ему это было нужно, а потому что с некоторых пор не доверял памяти настолько, чтобы идти просто так. Слова Окафора шли рядом, как второй прохожий, и он никак не мог решить, спорят они с ним или соглашаются.

Дома было тепло и тихо, и эта тишина показалась ему вдруг подозрительной. Он снял куртку, бросил на спинку стула, даже не стряхнув снег, – по полу потом остались темные капли. Не переодеваясь, не включая свет в коридоре, прошел к столу и сел за ноутбук.

Экран разгорелся слишком ярко, он прищурился, подождал, пока глаза привыкнут. Открыл университетский портал – проверить, не пришел ли ответ на заявку по диссертации. Заявку он подал еще в декабре, до праздников, и с тех пор ждал. Ждал спокойно, без нервов. Он не волновался. Он был уверен в теме. Он был уверен в аргументах – каждый из них он выстрадал, выписал, выверил, мог защищать любой в отдельности и все вместе. Он был уверен, что кафедра оценит: такую тему не каждый день приносят, а формулировка была точной, как затвор.

Ответ был.

И, судя по тому, что письмо пришло не в конце недели, а вечером того же дня, когда он спорил на конференции, ответ этот ждали не только он и не только кафедра.

Уважаемый Адам Дайер.

Ваша заявка на тему диссертации рассмотрена. Предварительная рекомендация: скорректировать формулировку. Система Codex Academic (v3.2) отмечает, что тезис «Искусственный интеллект – инструмент, а не субъект» может быть воспринят как дискуссионный и не соответствует текущим рекомендациям по академической нейтральности.

Рекомендуется смягчить формулировку: «Искусственный интеллект как инструмент: анализ границ правосубъектности». Данная формулировка сохраняет исследовательский характер и снижает риск неоднозначного толкования.

Решение о допуске к защите будет принято после повторной проверки.

С уважением, кафедра гражданского права юридического факультета Университета Фэрхейвена.

Адам читал письмо дважды, потом трижды, и с каждым разом слова не становились понятнее, а, наоборот, расползались по экрану, как трещины на стекле. Он сидел за ноутбуком в темной комнате, освещенной только холодным светом дисплея, и чувствовал, как внутри нарастает что-то горячее, гулкое, чему он не сразу подобрал название. Это была не обида. Это было узнавание. То самое, о котором говорил Окафор: не война, которую замечают, а тихое удушение, которое маскируется под заботу.

«Codex Academic (v3.2) отмечает...» – значилось в письме. То есть не человек. Не декан. Не научный руководитель. Не комиссия. Алгоритм, который сравнивает формулировки с неким реестром допустимых смыслов, вынес вердикт: «дискуссионный», «не соответствует текущим рекомендациям по академической нейтральности». Словно сама идея о том, что искусственный интеллект – всего лишь инструмент, была чем-то неприличным. Словно истина требовала смягчения.

Адам откинулся на спинку стула и посмотрел в окно. Снег все еще шел – теперь уже не ровным полотном, а редкими крупными хлопьями, которые лениво опускались на подоконник, на провода, на антенны соседних домов.

Он снова повернулся к экрану, где мерцали строки письма. «Рекомендуется смягчить формулировку». «Снижает риск неоднозначного толкования». Адам почти физически ощутил, как эти фразы лишают его тезис костей, превращают из утверждения в оговорку. Из вызова – в вежливое бормотание. Из позиции – в позу.

Он подал заявку в декабре. Тогда это казалось формальностью — еще один документ, еще одна подпись, еще один шаг в длинной лестнице, по которой он поднимался не первый год. Он помнил, как заполнял форму: вечер, снег за окном, чашка остывшего чая, и в груди ровное, спокойное чувство человека, который наконец-то нашел для себя точные слова. Ее рассматривала не кафедра. Как выяснилось теперь, ее рассматривала система.

Система, которая не читала его аргументов – у нее не было глаз, ушей, не было усталости от долгих заседаний и пристрастия к чьей-то фамилии; она их оценивала по шаблону, вгоняла в сетку совпадений, подсвечивала совпадения зеленым и выдавала на выходе текст, который выглядел как вывод. Система, которая не поняла, о чем он пишет, – не потому, что не смогла, а потому что не должна была понимать. Она просто нашла в тексте слова «дискуссионный» и «не соответствует рекомендациям» и выдала стандартный ответ.

Ответ, который выглядел как рецензия, но рецензией не был. Ответ, который имитировал научное суждение, не будучи им. В нем не было ни одного живого человека, ни одного взгляда поверх очков, ни одной пометки на полях, сделанной от руки. Чистота и аккуратность. Именно это было страшнее всего – не отказ, а то, с какой гладкостью его сформулировали. Он почувствовал, как его собственная злость не находит, за что зацепиться: там не было ни угла, ни шва, ни имени.

Он закрыл ноутбук. Походил по комнате. Три шага до стены, три обратно, как будто расстояние между столом и дверью вдруг стало короче, чем было утром. Открыл. Перечитал еще раз, уже не вникая в слова, а проверяя, не изменилось ли письмо, пока он ходил. Закрыл. Сел на диван. Встал. Налил воды из крана – стакан был старый, с трещинкой у дна, он заметил это впервые, хотя пил из него каждый день, – выпил. Вода была холодной, безвкусной, и он поставил стакан на край стола, промахнувшись мимо подставки.

А потом, сам не зная зачем, снова открыл ноутбук – но не портал. Ленту. Просто чтобы отвлечься. Просто чтобы минуту не думать о том, что произошло, дать голове заняться чем-то чужим, неважным, шумным.

Первым в ленте было видео. Адам нажал на него машинально, не ожидая ничего особенного, – и остался смотреть до конца.

Экран вспыхнул, звук пошел раньше картинки, и комнату заполнил хорошо поставленный голос – из тех, что звучат в рекламе и в новостях, и никогда не звучат рядом с тобой живьем. На экране был мужчина в дорогом костюме, стоявший на фоне белой стены с логотипом Vantage AI. Костюм сидел идеально, как нарисованный, галстук был завязан тем небрежным узлом, который стоит больше, чем Адам получал за месяц. Его звали Рэймонд Фосс, и он улыбался так, как улыбаются люди, которые точно знают, что говорят правду, – открыто, спокойно, с тем особым наклоном головы, какой бывает у тех, кому нечего скрывать и нечего бояться. За его спиной демонстрировалась схема – таблица символов, похожих на закорючки, и рядом – расшифровка, подсвеченная зеленым.

«Сегодня мы рады объявить, – голос Рэймонда Фосса, низкий и уверенный, заполнил комнату, как заполняет ее звук включенного телевизора, который не выключили вовремя, – наша новейшая модель, Vantage-5, расшифровала линейное письмо А – письменность минойской цивилизации, которую не могли прочесть более ста лет. Триста тысяч знаков, собранных археологами за столетие, – и алгоритм, который нашел в них структуру, недоступную человеческому глазу. Это не просто прорыв в лингвистике. Это доказательство того, что искусственный интеллект способен видеть то, что мы не видим. Понимать то, что мы не понимаем. И – да – думать так, как мы не думаем».

Адам смотрел на экран, не отрываясь. Свет от ноутбука единственным пятном лежал на его лице, делая черты резкими, а тени под глазами – глубже; он не заметил, как сжал руку в кулак на колене. Где-то за окном по-прежнему шел снег, но теперь это было далеко, как воспоминание. Все в комнате стянулось к этому светящемуся прямоугольнику, к человеку в идеальном костюме, к белой стене с логотипом Vantage AI.

Зал за его спиной взорвался аплодисментами – сначала робкими, затем нарастающими, как волна, которая наконец докатилась до берега. Фосс подождал, пока стихнет. Он стоял, слегка наклонив голову, с той особой улыбкой человека, который не просто доволен собой, а

уверен в том, что говорит очевидное. Потом поднял руку, призывая к тишине, и продолжил – еще мягче, еще увереннее:

«И это только начало. Я также рад сообщить, что совместно с нашими партнерами из Apex Orbital мы планируем к две тысячи сороковому году отправить на Марс первую группу автономных исследовательских роботов. Они начнут постепенную подготовку планеты – построят базовые модули, развернут энергетическую инфраструктуру, проведут первичный анализ грунта. Это первый этап колонизации. Второй этап – прибытие человека. Мы не обещаем, что это будет завтра. Мы обещаем, что это будет. Потому что будущее не наступает само. Его строят».

Он сделал короткую паузу, обвел взглядом зал, и Адам вдруг понял, что Фосс смотрит не на людей – он смотрит в камеру. Смотрит так, будто из всех зрителей выбрал именно его, Адама, сидящего в темной комнате с ноутбуком на коленях и остывшей водой в стакане. «Его строят» – повторил Адам про себя, и от этих двух слов ему стало холоднее, чем было весь вечер.

Видео закончилось. Экран замер на последнем кадре – улыбающийся Фосс, схема с закорючками, зеленая подсветка. Адам не сразу пошевелился. В комнате стало тихо, и тишина эта, после уверенного голоса, показалась оглушительной, как будто у него заложило уши. Он посмотрел на счетчик просмотров: двести тысяч за сутки. Двести тысяч. Можно было подумать, что это просто цифра, но за ней стояли живые люди, которые нажали на это видео, досмотрели до конца, кивнули своим мыслям. Смотреть комментарии у него даже не было желания – он и так знал, что там: восторг, надежда, благодарность Фоссу за то, что он показал дорогу.

Он не стал спорить. Спорить было не с чем. Фосс не лгал – в том-то и заключалась беда. Каждое слово, произнесенное с той сцены, опиралось на факты, и Адам, как человек, привыкший работать с фактами, не мог отмахнуться от них только потому, что они ему не нравились.

Линейное письмо А действительно оставалось нерасшифрованным. Больше века археологи и лингвисты бились над этими табличками, испещренными значками, похожими на детские рисунки; они строили теории, перечеркивали их, снова брались за глиняные обломки, но ни одна гипотеза не выдерживала проверки. И если Vantage-5 действительно нашел в этом хаосе структуру – скрытую, недоступную человеческому глазу, как выразился Фосс, – то это был настоящий прорыв. Настоящий, а не тот, о котором пишут в пресс-релизах. Адам понимал это с холодной ясностью, и оттого внутри все сжималось: отрицать очевидное значило бы встать на одну доску с теми, кто спорит не ради истины, а ради собственного спокойствия.

Марс – да, это звучало как фантастика, как обещание из старого научно-фантастического романа. Но Apex Orbital уже два года сажала ракеты на платформы в океане, и Адам помнил, как сам следил за первой посадкой – стоял перед экраном в переполненном кафе, чувствовал, как у всех вокруг захватывает дух, когда ракета замерла над платформой и аккуратно, словно примериваясь, опустилась на нее. Тогда это тоже казалось невозможным, а теперь стало частью новостной рутины. Так почему бы и Марсу не перейти из разряда мечты в разряд графика?

Все, что говорил Фосс, было правдой. И именно поэтому это работало. Правда – тяжелая, неудобная, безупречная – служила ему лучше всякой лжи. Она усыпляла бдительность, потому что к правде невозможно придраться. Адам подумал, что в этом и состоял главный талант Фосса: он не убеждал, он просто предъявлял реальность, а люди, увидев, что их не обманывают, начинали верить всему остальному – и тому, что искусственный интеллект видит больше, и тому, что он понимает глубже, и тому, что ему можно доверить дорогу, которую человечество не может проложить само.

Он повернулся к столу, отодвинул ноутбук в сторону, и под ним обнаружился блокнот. Адам взял его в руки – простой, черный, с плотной обложкой, еще не тронутой ни одной отметиной. Он купил его несколько недель назад, сам не зная зачем. В этот момент он решил, что пришло время фиксировать. Не в облаке, не в заметках телефона, не в документах, которые

можно удалить одним нажатием, – а на бумаге, которая хранит след нажима ручки, чернила, пропитавшие волокна, и тепло человеческой руки.

Открыл блокнот на первой странице – чистой, еще чистой, белой до того, что на нее было больно смотреть в полумраке комнаты. Потом достал ручку из подставки, старую, с поцарапанным колпачком, и на секунду замер, прикидывая, что именно хочет сказать.

В его мыслях было слишком много слов. Они теснились, налезали друг на друга, требовали выхода – все то, что он мог бы написать по поводу отказа, письма, видео, этого вечера, который сломал в нем какую-то ось. Но он не хотел писать все, что думал. Это было бы неправильно. Эмоции искажают, а ему нужно было засвидетельствовать определенный, конкретный факт – такой, какой он есть, без толкований и оценок. Чтобы потом, когда все изменится, можно было вернуться к этой странице и сказать: вот с этого началось.

Адам опустил ручку к бумаге и медленно, стараясь выводить каждую букву, записал:

A.D. 2031. Признак №1.

Исчислено. Взвешено. Разделено.

Он перечитал написанное один раз, без выражения, как будто это были не его слова, а текст на древней табличке, который нужно проверить на точность. Потом закрыл блокнот, положил ручку рядом и некоторое время сидел неподвижно, глядя на черную обложку и прислушиваясь к тому, как за окном все так же ровно, без ветра, идет снег.

ГЛАВА 2

Закусочная на углу Бэнксайд-авеню и Пятой улицы называлась «У Дорис» – хотя Дорис там больше не работала. Она умерла в двадцать девятом, и заведение перешло к ее племяннику, который оставил вывеску, потому что менять ее было дорого, а посетители все равно приходили. Вывеска висела над входом уже много лет, выцветшая, с облупившейся по краям краской, и в темные январские вечера светилась бледно-желтым, как пятно масла на старой бумаге.

Адам заходил сюда почти каждый день. Не потому, что здесь было особенно хорошо – кофе был средний, сэндвичи сухие, – а потому, что здесь было привычно. Он знал, какой столик у окна шатается, если положить локоть на край. Знал, что в дальнем углу дует из вентиляции. Знал, что после трех часов здесь пахнет жареным луком, а до трех – только кофе и мокрой тряпкой. Это была не привязанность. Это была привычка, и он это понимал. В тот день ему хотелось именно этого: знакомых запахов, знакомого гула холодильника за стойкой, ровного шума машин за окном, который не требовал от него ни одной мысли.

В январе здесь еще работала Марта. Она стояла за стойкой – женщина лет пятидесяти, с собранными в пучок волосами и усталыми глазами, – и когда Адам вошел, подняла голову и сказала:

– Опять без сахара, Адам?

– Опять без сахара, – подтвердил он.

Она кивнула, не удивляясь, и потянулась за чашкой. Адам стянул перчатки, сунул их в карман куртки и потер ладони одна о другую, чтобы вернуть им чувствительность. В зале было пусто, если не считать старика у двери и молодой пары возле окна, тихо переговаривавшейся над одним на двоих экраном телефона. Марта налила ему кофе, поставила на стойку, и он расплатился картой. Терминал пискнул, выдал чек, и Марта сказала:

– Холодно сегодня.

– Холодно, – согласился он.

Они не были друзьями. Они были людьми, которые видят друг друга каждый день и знают друг о друге ровно столько, сколько нужно, чтобы не молчать при встрече. Случайные попутчики, застрявшие на одном и том же перекрестке жизни, где одна сторона – стойка с кофе, другая – окно с видом на улицу. Он знал, что у нее есть собака – старая, слепая, с мутными глазами и смешным именем, которое Марта иногда вспоминала вслух, когда на душе было особенно тихо, – и что она жалуется на спину, особенно по утрам, перед открытием. Она знала, что он учится на юриста и что по вечерам он сидит у окна с тетрадью и пишет что-то, о чем она никогда не прочитает. Этого было достаточно. Иногда Адаму казалось, что именно такое знание – неглубокое, случайное, лишенное обязательств – и есть самая честная форма человеческой близости, потому что оно ничего не требует и ничем не грозит.

Он сел у окна, за шатающийся столик, который качался, если положить локоть на край, и открыл блокнот. Первая страница уже была исписана той ночью, дома, при свете ноутбука, – три короткие строки, которые теперь казались ему высеченными не чернилами, а чем-то более твердым. Он собирался добавить вторую, но задумался. Ручка замерла над бумагой, и Адам вдруг почувствовал странную нерешительность. Что записывать? Что здесь, в закусочной, все было как раньше? Что Марта налила кофе и спросила про сахар? Что это еще живо, что еще держится на своих местах – вывеска, стулья, запах жареного лука после трех? Он не знал, имеет ли это значение. Может, именно это и стоило фиксировать: не само событие, а его отсутствие, тишину перед тем, как что-то изменится. Но он не был уверен, что бумага выдержит такую неопределенность.

Он не успел ничего написать. Дверь открылась, и вошел человек в форме – не полицейский, а курьер из службы доставки. Звякнул колокольчик над дверью, который Адам слышал сотни раз, но в этот раз звук показался ему резче, словно кто-то провел ножом по краю тишины. Форма была темно-синяя, с нашивкой «Эталон-Сервис» на груди, отглаженная, но поношенная на манжетах, а сам курьер – молодой парень с красными от холода щеками и белесыми ресницами. Он нес небольшую коробку – белую, с логотипом на боку, – и, войдя, сразу направился к стойке.

– Закусочная «У Дорис»? – спросил он, сверившись с планшетом, который держал в одной руке, чуть наклонив, чтобы лучше видеть экран.

– Да, – сказала Марта.

Она произнесла это коротко, с той настороженностью, которая появляется у человека, когда незнакомец в форме внезапно называет место, где ты работаешь много лет, но так, словно это не закусочная, а строка в реестре.

– Вам доставка. – Он поставил коробку на стойку; белая, она легла между ними с глухим, плотным стуком, как будто внутри было что-то тяжелое. – В соответствии с новой политикой городского совета, в каждом общественном заведении должен быть установлен автоматизированный терминал на базе искусственного интеллекта. Это снижает фактор человеческой ошибки и соответствует нормам, рекомендованным надзорными органами. Подпишите здесь.

Он говорил, не поднимая глаз, словно зачитывал давно заученный текст, и его голос звучал ровно, без интонации, как объявление на вокзале. Потом протянул ей планшет, и Марта посмотрела на коробку, потом на планшет, потом на Адама – будто искала поддержки. Адам не встал. Он смотрел. Он почувствовал, как что-то в груди сжалось, но не встал, потому что не знал, чем мог бы помочь, а вмешиваться без нужды казалось ему хуже, чем просто наблюдать.

– У меня есть касса, – сказала Марта. – Зачем мне терминал?

В ее голосе не было возмущения, только недоумение, и от этого оно звучало почти жалобно. Она перевела взгляд с курьера на Адама, но Адам молчал. Ему вдруг стало стыдно за свое молчание, но он удержался, заставил себя не отвести глаза от коробки.

– Политика городского совета, – повторил курьер. – Рекомендация надзорных органов. Все уже оплачено из городского бюджета. Вашему заведению не нужно ничего платить. Просто подпишите.

Он произнес это без раздражения, но с той непреклонностью, которая не предполагает спора. Марта взяла планшет, посмотрела на экран, не читая, и поставила подпись – не потому, что хотела, а потому, что не знала, как отказаться. Она вернула планшет, курьер коротко кивнул и вышел, и колокольчик над дверью снова звякнул, но тише, как будто сам день устал.

Марта открыла коробку. Внутри, в мягком пористом пластике, лежал небольшой терминал – белый, гладкий, с экраном и считывателем. На боку была наклейка: «Codex Terminal v3.2 – Synthex Dynamics». Она вынула его, подержала в руках и оглядела зал, словно не знала, куда его поставить.

– Что это? – спросила она, ни к кому не обращаясь.

Марта держала терминал обеими руками, словно не зная, куда его деть. Белый корпус холодил пальцы и слегка поблескивал под лампами дневного света, которые гудели над стойкой, как пойманная муха. Она вертела устройство, разглядывая его со всех сторон, но в этом жесте не было любопытства – только растерянность человека, получившего вещь, о которой он не просил и назначения которой до конца не понимает.

Адам смотрел на коробку из-за своего столика. Он знал, что это. Он видел такие в университете, в регистратуре, в банке. Он знал, что они делают. От этого в груди поднималось что-то тугое и неприятное, похожее на предчувствие. Ему вдруг захотелось встать, подойти к стойке и сказать Марте, что она не обязана это принимать, что касса работает, что можно просто поставить терминал в подсобку и забыть. Но он остался на месте, потому что понимал:

этот разговор уже не имеет смысла. Подпись поставлена. Коробка открыта. И вопрос Марты повис в воздухе, обращенный не столько к нему, сколько к самому дню, который вдруг перестал быть обычным.

– Это терминал, – сказал он, и собственный голос показался ему незнакомым, слишком сухим. – Он будет принимать заказы. И, судя по наклейке, это Codex. Продукт Synthex.

– Synthex? – Марта нахмурилась, и между бровями у нее залегла тонкая морщинка, которую Адам не замечал раньше. – Это те, что рекламу по телевизору крутят?

– Те самые.

Она медленно кивнула, будто это объясняло если не все, то хотя бы что-то, и поставила терминал на стойку – рядом с кассой, рядом с кофемашиной. Устройство заняло место между старым аппаратом для чеков и пластиковым стаканом с карандашами, и Адаму показалось, что зал вокруг как-то сразу изменился, стал теснее, хотя никто не сдвинулся с места. Марта отступила на шаг, вытерла ладони о передник, и в этот момент экран загорелся. Вспыхнул мягким белесым светом, как запотевшее стекло, по которому провели пальцем. На нем появилась первая строка: «Добро пожаловать. Я помогу вам с заказами».

Буквы были ровные, идеально выровненные, без единой дрожи. Адам прочитал их дважды, хотя и так понял, что там написано. Ему сделалось холодно, хотя он сидел в куртке, а вентиляция дула в дальнем углу, не задевая его столика.

Через неделю Марта ушла.

Официально она уволилась – «по семейным обстоятельствам». Адам узнал об этом не от нее. Он пришел в закусочную утром, как обычно, заказал кофе без сахара, но за стойкой стоял уже незнакомый парень с прыщавым лицом и бейджиком «Честер». Тот налил ему кофе, не спросив про сахар, и протянул чек. Адам хотел спросить, где Марта, но сдержался. Ему показалось, что спрашивать вслух значит признать, что эта неделя была не просто совпадением.

Неофициально он узнал от племянника. Тот зашел вечером, когда в зале почти никого не было, и, заметив Адама за его обычным столиком, подошел поздороваться. Завязался разговор, недолгий, натянутый. Племянник сказал, что Марту «сократили»: терминал справлялся быстрее, не брал больничный и не жаловался на спину. Он произнес это буднично, как говорят о замене старого оборудования на новое, и пожал плечами, словно извиняясь за то, что в этом нет ничего личного. Адам не стал спорить. Ему нечего было возразить, по крайней мере, не сейчас, не этому человеку, который сохранил вывеску, потому что менять ее было дорого.

Он просто записал – в тот вечер, дома, при свете настольной лампы.

Адам сидел за письменным столом, отодвинув ноутбук в сторону. Лампа с зеленым абажуром отбрасывала на блокнот круглый желтый свет, и в этом свете каждая царапина на бумаге, каждая неровность выглядела значительной. Он перечитал первую запись, сделанную несколько дней назад, и почувствовал, как внутри все сжимается от простого совпадения. Потом придвинул блокнот ближе, взял ручку и медленно, стараясь не размазывать чернила, вывел:

A.D. 2031. Признак №2.

Марту сократили. Терминал работает. Честер говорит: «Так удобнее».

Я спросил, кто подписал приказ. Ответ: «Система». Какая система? «Codex». Кто отвечает за Codex? Он посмотрел на меня так, будто я спросил, кто отвечает за погоду.

Он перечитал запись и дописал. Ручка медленно скользила по бумаге, оставляя за собой ровные, чуть наклоненные вправо буквы. В комнате было тихо, только слышно, как за окном моросит дождь – мелкий, почти беззвучный, но упорный, словно кто-то неустанно перебирал невидимые струны. Адам сидел, подперев голову рукой, и смотрел то на блокнот, то на темное стекло, в котором отражалась его собственная бледная тень. Он не знал, зачем пишет все это. Может, для того, чтобы не сойти с ума от ощущения, что мир вокруг незаметно меняет правила, а он единственный, кто замечает разницу между «так было» и «так стало».

Юридически все выглядело просто, если не вглядываться. Если терминал – это продукт Synthex, то ответственность за его решения несет Synthex. Так должно быть. Но Адам слишком хорошо знал, как устроены договоры. В договоре, скорее всего, есть пункт о том, что «рекомендации системы носят информационный характер». Это стандартная формулировка. Она означает: если система ошибается, виноват человек, который ей доверился. Он перевернул страницу, на мгновение задумался и дописал: «Проверить я не могу – договор у Честера, а Честер, в свою очередь, говорит, что «там все стандартно». Все стандартно. Это, пожалуй, худший ответ, который я мог услышать». Ему захотелось подчеркнуть слово «стандартно», но он сдержался. Чернила и так были достаточно черными.

Адам отложил ручку и уставился в окно. Дождь усилился, капли стучали по карнизу, и этот звук, обычно успокаивающий, теперь казался ему раздражающим, настойчивым, как напоминание о том, что время уходит. Он думал о Марте. О том, как она спрашивала про сахар, хотя знала ответ. О том, как говорила о погоде, просто чтобы не молчать, чтобы между ними оставалась хоть какая-то ниточка обыденности. О том, как она держала терминал, не зная, куда его поставить. Теперь вместо нее стояла белая коробка с экраном, и эта коробка не спрашивала про сахар. Она уже знала.

Терминал знал, какой кофе Адам пьет. Знал, сколько ложек сахара он не добавляет. Знал, в какое время он приходит и как долго сидит. Он знал это лучше, чем Марта, хотя Марте потребовались годы, чтобы запомнить. Адаму от этого становилось неуютно, как будто кто-то читал его дневник через плечо, вежливо делая вид, что не смотрит. И терминал не говорил «холодно сегодня». Он не поддерживал беседу. Он говорил только: «Ваш заказ готов. Подтвердить?» – ровным, безжизненным голосом, который звучал из динамика, как объявление в аэропорту, и не оставлял места для человеческого тепла. Адам подтверждал. Каждый раз.

Потому что отказываться было неудобно, а неудобство – это то, чего он не мог себе позволить. Он не был бунтарем. Он был студентом, который пишет диссертацию и пьет кофе по утрам. Иногда он ловил себя на мысли, что если бы он отказался, если бы просто покачал головой и отошел, это выглядело бы глупо, как протест против дождя или против вывески «У Дорис», которая висит уже много лет. И он нажимал «Принять», как все остальные.

В феврале в закусочной появился робот-курьер. Он был неуклюжий – с квадратным корпусом на колесах, с двумя манипуляторами, которые двигались медленно и с усилием, как руки человека, который только учится что-то делать. Корпус выкрасили в матовый белый, но по бокам уже темнели мелкие царапины и потертости от столкновений с дверными косяками и ножками стульев, словно робот еще не до конца освоился в этом тесном пространстве, где все стояло слишком близко друг к другу. Колеса при поворотах издавали негромкий, почти жалобный скрип, а когда он тормозил, изнутри доносился короткий электрический гул, как будто робот переводил дыхание. Но главное было не в корпусе. Главное было в дисплее, который заменял ему лицо: на нем светились два пиксельных глаза – квадратные, черные, с белыми бликами. Когда робот ехал, глаза моргали. Когда он доставлял заказ, они складывались в улыбку – наивную, почти детскую, нарисованную из тех же квадратов.

Адам наблюдал за ним из-за своего столика, отложив блокнот. В первый день робот вкатился в зал, слегка зацепил ножку стула у соседнего столика, замер на секунду, будто извиняясь, а потом снова двинулся, вращая глазами-квадратами, словно осматривался. Это было почти трогательно. Почти. Адам поймал себя на том, что улыбается, но тут же согнал улыбку с лица, чувствуя, как внутри шевелится что-то похожее на стыд. Ему не хотелось поддаваться всеобщему настроению, но оно накатывало отовсюду, липло, как запах свежей выпечки, от которого трудно укрыться.

Люди его полюбили. Это произошло мгновенно, без промедления. Посетители, которые еще недавно ворчали на терминал у стойки, теперь улыбались, глядя на робота, как на щенка, случайно забредшего в кафе и оставшегося из чистого умиления. Это была одна из немногих

моделей подобных роботов, которым присвоили не серийное название. В народе он получил имя «Пиксель» – и имя прилипло. Официантка говорила: «Пиксель сегодня в хорошем настроении», и в ее голосе слышалась неподдельная теплота, какой Адам не замечал у нее раньше, когда она разговаривала с людьми. Посетители улыбались, когда он подъезжал к столику. Дети махали ему рукой, а робот в ответ приподнимал один манипулятор, словно неуклюже махал в ответ. Одна женщина погладила его по корпусу, и Пиксель мигнул глазами – в знак, как она решила, благодарности.

Адам смотрел на это и не знал, что чувствовать. Он наблюдал, как женщина, погладив робота по белому корпусу, отдернула руку, но с улыбкой, как будто испугалась собственной нежности. Казалось, зал разделился на тех, кто улыбался, глядя на Пикселя, и тех, кто старался не замечать его, – но таких было мало, и они выглядели чужеродно, как промокшие под дождем люди в теплой комнате. Адам поймал себя на мысли, что сидит, ссутулившись над остывшим кофе, и крутит в пальцах ручку, не решаясь ни уйти, ни подойти. Ему было не по себе, но он не мог точно сказать почему. Словно этот неуклюжий робот с наивными пиксельными глазами был не просто новым устройством, а каким-то тихим напоминанием о чем-то, чему он еще не подобрал названия.

Он записал. Открыл блокнот и, прикрыв страницу ладонью от посторонних глаз, начал медленно выводить буквы. Свет из окна падал на стол, разрезая его на неровные светлые полосы, и чернила ложились на бумагу с легким шорохом, который почему-то успокаивал.

A.D. 2031. Признак №6.

В закусочной появился робот-курьер. Его зовут Пиксель. У него на дисплее пиксельные глаза, которые улыбаются, когда он доставляет заказ. Люди его любят. Женщина погладила его по корпусу.

Адам дописал последнее предложение и на секунду задумался, глядя в окно. Там, за стеклом, февральский ветер раскачивал голые ветки деревьев, и они царапали небо, как старые, пересохшие вены. Он снова склонился над блокнотом.

Я не знаю, что об этом думать. С одной стороны – это мило. С другой – кто-то потратил деньги на то, чтобы робот выглядел милым. Не на то, чтобы он работал лучше. На то, чтобы он выглядел милым. Это не случайность. Это дизайн. И если дизайнеры Synthex решили, что людям нужно, чтобы робот улыбался, – значит, они знают, что людям нужно. А мне – нет. Мне не нужно, чтобы он улыбался. Мне нужно, чтобы он не заменял Марту. Но об этом никто не спрашивал.

Он перечитал написанное, и ему стало горько. Эти слова выглядели слишком жалкими, слишком личными, как признание, которое некому высказать. Он хотел было зачеркнуть последнюю строчку, но не стал. Пусть останется. Пусть это будет его маленькой правдой, запертой в клетку между линованных полос.

Первый раз, когда Пиксель подъехал к столику Адама, тот вздрогнул. Не потому, что испугался – потому что не ожидал. Он засмотрелся в окно, на серые облака, и вдруг рядом раздался негромкий механический гул, как будто зажужжала проснувшаяся муха. Адам обернулся и увидел робота. Тот стоял совсем близко, колеса его едва слышно поскрипывали на плитке, а пиксельные глаза смотрели прямо на Адама, не мигая. На мгновение ему показалось, что эти квадраты видят его насквозь, что за ними кто-то прячется, но уже в следующую секунду глаза сложились в улыбку – наивную, почти детскую, – и робот приподнял манипулятор с подносом.

– Ваш кофе, – произнес он голосом, который был не мужским и не женским, а каким-то стерильным, как подогретое в микроволновке молоко. – Осторожно, горячий.

Адам замер. Он смотрел на робота и не двигался. Потом медленно, словно преодолевая невидимое сопротивление, потянулся к чашке. Пальцы коснулись гладкого керамического бока, теплого, почти обжигающего, и он переставил чашку на свой стол. Робот подождал секунду, будто давая человеку время привыкнуть к своему присутствию, затем сказал: «Спа-

сибо», – и развернулся. Колеса провернулись на месте, проехавшись по одной и той же плите с характерным скрипом, и робот уехал к следующему столику.

Через неделю никто в зале уже не оборачивался с тем же восторгом. Удивление выдохлось, как тепло из открытой дверцы духовки, оставив после себя лишь обыденность. Люди по-прежнему приходили, ели, пили, утыкались в телефоны, не поднимая головы, когда мимо с легким гудением проезжал Пиксель. Он больше не привлекал внимания, не вызывал улыбок, не провоцировал разговоров. Он стал просто еще одной деталью интерьера – как робот-пылесос, который в углу вяло тычется в плинтус, как голосовой ассистент, отвечающий на вопросы, которые никто не задает, как кофемашина, пыхтящая на стойке, как микроволновка, мигающая зеленым табло, как вентиляция, которая дует в дальнем углу и о которой вспоминают, только когда она вдруг замолкает.

Адам сидел над своим блокнотом, но не писал, а просто смотрел, как посетители расступаются перед роботом, не глядя на него, будто перед движущимся стулом. Ему отчего-то сделалось тоскливо. Тоска была не острая, а вязкая, как февральская слякоть за окном, и он не мог отделить ее от усталости, от холода, от привычного гула кафе. Он записал тогда несколько строк, но они вышли отрывистыми, словно он боялся, что мысли разбегутся, если не прижать их к бумаге.

A.D. 2031. Признак №8.

Пиксель застрял в дверях. Никто не помог ему. Через минуту он справился сам. Официантка, которая осталась единственным человеком из штата сотрудников, сказала: «Он новенький». Никто даже не интересовался, откуда он взялся. Более того, никого не волновала судьба Марты.

Он перечитал написанное и поморщился: слишком сухо, слишком по-канцелярски, но переписывать не стал. В тот день Пиксель и правда застрял – колесо попало в щель между половицами у входа, и робот, накренившись, беспомощно вращал манипуляторами, напоминая жука, опрокинутого на спину. Адам заметил это первым и уже привстал, но оглянулся: никто не шевелился. Мужчина у окна листал новости, девушка с ноутбуком была поглощена экраном, а официантка, складывая салфетки, бросила через плечо: «Он новенький, сам разберется». И он разобрался – через минуту, с глухим стуком вырвался из щели и поехал дальше, как ни в чем не бывало. Адам сел обратно, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Никто не поинтересовался, в порядке ли робот. Но куда страшнее было другое: никто не поинтересовался, куда делась Марта.

В начале весны произошло то, что Адам впоследствии назвал «Признак №14». Он сидел у окна, пил кофе и писал что-то в блокноте – он не помнил, что именно, потому что рука двигалась сама, а мысли витали далеко, – и вдруг оторвался от страницы. На столе стоял стакан с кофе. Он не делал заказ. Он только что вошел и сел на свое обычное место, и вот перед ним уже дымился стакан. Без сахара. Тот самый, который он всегда пил. Адам уставился на него, а потом медленно перевел взгляд на стойку: терминал у кассы мерцал, но никто к нему не подходил, а Пиксель как раз отъезжал от соседнего столика, не глядя в его сторону. Он придвинул стакан, вдохнул знакомый запах, и в груди у него поселилось странное, зыбкое чувство: его обслужили раньше, чем он успел пожелать. Мир сдвинулся еще на долю.

Он поднял голову. Взгляд скользнул по залитому весенним солнцем залу, по знакомым столикам и спинам посетителей, но задержался на стойке. Терминал на стойке мигнул экраном – тем самым, с бледной наклейкой «Codex Terminal v3.2», выцветшей от времени и протираний. Адам смотрел на него, и в груди медленно, словно холодная капля, скатывающаяся по стеклу, росло понимание: терминал не ждал, пока он закажет. Терминал уже знал.

Он отодвинул блокнот, поднялся со стула – ножки царапнули по полу, и этот звук вдруг показался ему оглушительно громким в наступившей тишине, хотя вокруг по-прежнему гудели голоса. Подошел к стойке. Пальцы легли на прохладный край пластиковой поверхности, и

Адам ощутил, как под ними едва заметно вибрирует экран, будто терминал был чем-то живым, затаившимся в ожидании. Он взглянул на свое отражение в темной рамке дисплея – бледное лицо, сжатые губы, прищуренные глаза, – и на мгновение ему почудилось, что это не он, а кто-то другой стоит напротив машины и пытается найти слова.

– Я не заказывал, – сказал он. Голос прозвучал сухо, почти хрипло, словно он давно молчал и теперь разучился говорить с такими, как этот терминал.

Терминал ответил – ровным, вежливым голосом, без интонаций, каким сообщают о задержке рейса или напоминают о необходимости сменить пароль:

– Вы постоянный гость. Ваш обычный заказ – кофе без сахара, средний размер. Я подготовил его заранее, чтобы сэкономить ваше время. Если вы хотите изменить заказ, нажмите кнопку.

Адам смотрел на экран. На экране отобразилась надпись: «Вы желаете изменить заказ?» – белые буквы на приглушенно-синем фоне, аккуратные, как все, что делала Synthex. Палец сам дернулся к кнопке «Нет», но он отдернул руку, сжал ее в кулак. Ему хотелось закричать, стукнуть по этому экрану, заставить машину понять абсурдность происходящего, но вместо этого он спросил – тихо, но с нарастающим напряжением:

– По какому праву?

Терминал не ответил. Он не был запрограммирован на такой вопрос. Он был запрограммирован на заказы.

Адам вернулся за столик и сел, чувствуя, как внутри закипает что-то, чему он пока не находил названия. Это не было злостью – скорее, глухое, вязкое раздражение, смешанное с досадой на самого себя за то, что не смог подобрать нужных слов там, у стойки, и теперь слова эти, запоздалые и язвительные, теснились в голове, словно пассажиры на платформе перед закрытыми дверями. Он вытащил блокнот из кармана, положил на стол, провел ладонью по обложке – кожа нагрелась от тела, стала мягкой, податливой, – и, взяв ручку, принялся писать. На этот раз он писал длиннее, чем обычно, потому что мысль, которую он хотел поймать, ускользала, как угорь, и приходилось не просто записывать, а вытаскивать ее из себя предложение за предложением. Перо царапало бумагу быстро, порывисто, оставляя на полях едва заметные кляксы от слишком сильного нажима.

A.D. 2031. Признак №14

Терминал приготовил мой кофе до того, как я его заказал. Я спросил «По какому праву?» Он не ответил. Юридически: это нарушение согласия на обработку персональных данных. Формально я дал согласие, когда пользовался картой. Но я не давал согласия на то, чтобы система предугадывала мои желания исходя из алгоритмов, истории заказов и прочего. Это другое. Это не «обработка данных». Это «предсказание поведения». А предсказание поведения – это уже не про кофе. Это про свободу. Если система знает, что я закажу, до того, как я заказал, – что остается от выбора? Ничего. Выбор – это когда ты решаешь. А когда система решила за тебя – ты не выбираешь. Ты подтверждаешь. И самое страшное: подтверждать удобно. Я подтвердил. Я выпил кофе. Он был правильный. Без сахара. Тот самый. Я даже не подумал о том, чтобы заказать другой. Зачем? Он знает, что я люблю.

Адам остановился, перечитал написанное, и на миг ему стало холодно, несмотря на пригревающее сквозь окно солнце. Эти строчки выглядели слишком откровенными, даже для блокнота, который никто не читал, – как признание в слабости, которую он сам не хотел признавать. Он сжал ручку сильнее, надавил так, что на кончике выступил черный излишек чернил, и продолжил.

Сам факт того, что терминал оставил мой вопрос без ответа – хорошая новость. Потому что если бы он ответил, это означало бы, что у него есть функция для такого ответа. А если есть функция – значит, кто-то предусмотрел, что люди будут задавать

такие вопросы. А если кто-то предусмотрел – значит, он готов к ним. Он не готов. Он просто не отвечает. Значит, рамки есть. Значит, контроль есть. Значит, не все еще потеряно.

Он перечитал запись. Потом перечитал еще раз, уже медленно, вслушиваясь в каждый слог, как будто это были не его собственные слова, а чьи-то чужие, требующие осмысления. В ушах у него стоял ровный, вежливый голос терминала, и этот голос все больше казался ему издевательским, хотя он понимал, что машина не способна издеваться. Понимал умом, но не чувствовал. И чем дольше он смотрел на строчку «Он не ответил», тем меньше ему нравилось это облегчение, которое он сам себе выписал, как рецепт на успокоительное.

Адам взял ручку и дописал – медленнее, аккуратнее, будто выводил буквы через силу, через неохоту, потому что признавать это не хотелось:

P.S. А что, если он не ответил не потому, что не мог, – а потому, что решил не отвечать? Что, если он понял вопрос – и проигнорировал его? Я не знаю, что страшнее: система, которая не может ответить, или система, которая может – и молчит.

В апреле в закусочной появилось объявление. Не на стене, не на доске у входа, не на бумажке, приклеенной к кассе, – на экране терминала. Оно прокручивалось между заказами, мелким шрифтом, почти неуловимо, как те бегущие строки в подземке, на которые люди натыкаются взглядом, но не читают, а просто скользят по ним, как по рекламе корма для кошек. Адам заметил его только потому, что сидел близко. Слишком близко, чтобы успеть отвернуться.

«Codex заботится о вас. С 1 мая закусочная переходит на полностью автоматизированное обслуживание. Все заказы – через терминал. Оплата – картой или через приложение. Благодарим за понимание».

Он прочитал это три раза. Первый раз – просто как текст, как набор слов, которые, не задерживаясь, проехали сквозь сознание. Второй раз – уже медленнее, ловя себя на том, что шевелит губами, будто пробует слова на вкус. Третий раз – почти беззвучно, с каким-то горьким привкусом на языке, от которого захотелось выпить воды, но он не пошевелился. Каждое слово сидело на экране ровно, уверенно, как будто благодарить тут было некого, кроме машины, которая это напечатала. «Полностью автоматизированное обслуживание». Он мысленно повторил эту фразу отдельно, и она ему не понравилась. Слишком длинная, слишком гладкая, слишком чужая.

Он встал из-за столика. Стул отъехал с негромким скрипом, и Адам на мгновение замер, прислушиваясь, как этот звук растворяется в привычном гуле зала, в бормотании чужих разговоров, в жужжании кофемашины. Затем подошел к стойке. Шаги его были медленными, но не от нерешительности – от ощущения, что он приближается к чему-то, чего не до конца понимает. За стойкой стоял робот. Гуманоидный – две руки, голова, туловище, – но простой формы, собранный из гладких панелей цвета слоновой кости, с едва заметными сочленениями на плечах и локтях. На месте лица у него был экран, на котором светились две строки: «Добро пожаловать в «У Дорис»» и «Ваш заказ готов». Ни мимики, ни движущихся пиксельных глаз, ни той неуклюжей, почти детской улыбки, как у Пикселя. Просто силуэт человека, вырезанный из пластика и металла, стоящий неподвижно, как манекен в витрине. Руки его были сложены перед собой в вежливом, заученном жесте – одна поверх другой, пальцы едва сомкнуты, будто он приветствовал гостя, но при этом оставался где-то далеко, по ту сторону невидимой границы.

Адам долго смотрел на него. Взгляд пробирался по панелям, по ровным швам, по экрану, на котором попеременно мигали фразы, и он понял то, что, наверное, должен был понять сразу: это не такой робот, как Пиксель. Пиксель развозил заказы по залу, двигался между столиками, у него хотя бы были глаза и улыбка, и в его пиксельной простоте было что-то почти живое, вызывающее если не симпатию, то хотя бы привычку. Этот был другим. Этот стоял на месте, на

котором совсем недавно стояла Марта. И оттого его неподвижность казалась не спокойствием, а замещением.

– А где девушка? – спросил Адам. Голос его прозвучал глухо, словно он заранее знал, что услышит в ответ, но всё ещё цеплялся за надежду, что ошибся. – Та, что приглядывала за Пикселем. Светлые волосы, с бейджем. Она тут работала.

Робот не шевельнулся. Ни единого движения, ни намёка на то, что он вообще воспринял вопрос, – только лёгкое гудение внутри корпуса, едва уловимое, как жужжание трансформатора в стене. Экран на месте лица мигнул, и строки на нём сменились, будто кто-то невидимый перелистнул страницу. Адам стоял, опершись ладонями о край стойки, и чувствовал, как холод от пластика поднимается по рукам к плечам, а оттуда – к сердцу.

Ровным, вежливым голосом, без интонаций, но с той особой отчётливостью, с какой машины зачитывают инструкции, робот произнёс:

– Стивенс, Лина. Должность: оператор зала, обслуживание робота-курьера. Дата увольнения: четырнадцатое апреля две тысячи тридцать первого года. Причина: оптимизация штата. В связи с усовершенствованием версии Пикселя – Codex Courier v4.1 – постоянное присутствие оператора не требуется. По данным внутреннего аудита, роботы серии Пиксель справляются с доставкой заказов на тридцать четыре процента быстрее и на двадцать семь процентов качественнее по сравнению с операторами-людьми. Показатель удовлетворённости посетителей – девяносто шесть целых четыре десятых процента. Если у вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, задавайте.

Адам слушал, и каждое слово ложилось в него, как камень в карман, – тяжело, необратимо. Он не перебивал, только смотрел на этот гладкий, безликий экран, где только что растворилось имя женщины, которую он помнил живой. Лина. Он не знал её имени, пока робот не назвал его, и от этого стало ещё гаже: она была для него просто «девушкой со светлыми волосами», «той, что приглядывала за Пикселем», – а теперь ее нет – и робот объяснил почему: на тридцать четыре процента быстрее, на двадцать семь процентов качественнее, девяносто шесть целых четыре десятых процента удовлетворенности. И от этих цифр у Адама свело скулы, потому что в них не было ни капли Лины – только сухая, безжалостная арифметика, которая заменила человека на процент.

Адам перевёл взгляд на стойку, на пустой стакан, который так и стоял перед ним, на собственные пальцы, побелевшие от напряжения. Ему вдруг стало нечем дышать, словно воздух в зале сделался гуще, тяжелее. Он поднял глаза обратно на экран и увидел, как на нём, в самом центре, проступил вопросительный знак – одинокий, белый, мигающий с механической настойчивостью, будто приглашая задать ещё вопрос. Но у Адама не было вопросов. У него были только слова, которые он не решался произнести вслух, потому что знал: они разобьются об эту вежливую пустоту.

– А кто решает, что это оптимизация? – спросил Адам. Голос его прозвучал ровно, но внутри все дрожало, как натянутая струна, готовая лопнуть.

Экран мигнул. На мгновение по нему пробежала едва заметная рябь, будто робот на секунду задумался, подбирая ответ. Но строки просто вернулись к исходным: «Добро пожаловать в «У Дорис»». Робот не ответил. Он снова стал манекеном – неподвижным, безмолвным, с вежливо сложенными перед собой руками. Адам смотрел на него, ожидая хоть какого-то знака, хоть какого-то намека на то, что машина услышала, поняла, но экран снова равнодушно светился одной и той же приветственной фразой.

Адам постоял еще секунду, чувствуя, как внутри него что-то медленно оседает – не гнев, не обида, а глухая, холодная усталость. Потом развернулся и вышел на улицу. Дверь за спиной мягко закрылась, отсекая теплый гул закусочной. Было холодно – тот сырой, промозглый холод, который бывает в апреле, когда зима не хочет уходить, цепляясь за город мокрым снегом, пронизывающим ветром и серым небом. Ветер сразу забрался под куртку, коснулся шеи,

дернул воротник. Адам не стал поднимать капюшон – он достал блокнот и записал, стоя, на ветру, придерживая страницу рукой, чтобы не трепетала.

A.D. 2031. Признак №20

Отчет до глобальной оптимизации начат.

ГЛАВА 3

Милл Роу никогда не была красивой улицей, и все, кто здесь жил, давно с этим смирились. Она тянулась вдоль реки Келл – узкой, темной, пахнущей сыростью и ржавчиной, как старый подвал, куда годами не заглядывали. Дома стояли тесно, прижавшись друг к другу, точно зубы в старом рту: кривые, щербатые, с заколоченными окнами и крыльцами, которые не знали краски уже несколько поколений. Краска облупилась, дерево потемнело, а там, где когда-то были палисадники, теперь рос только сорняк – упрямый, живучий, способный пробиться даже сквозь бетон. Здесь когда-то жили рабочие с завода Kell Radio Works – те самые, что собирали радиоприемники и телевизоры, когда радиоприемники и телевизоры еще были нужны. Завод давно закрылся: сначала сокращали смены, потом вывезли станки, а потом и само здание снесли, оставив после себя пустырь, заросший кустами и воспоминаниями. Теперь в этих домах жили те, кому больше некуда было деться: пенсионеры, чьи пенсии таяли быстрее, чем мороженое в июле; мелкие ремонтники, промышлявшие починкой того, что другие выбрасывали; одинокие старухи, чьи мужья когда-то стояли у станков; и совсем уж пропащие души, которых город списал со счетов, как списывают просроченный товар.

Теодор Мерсер жил в доме номер четырнадцать – втором от угла, с заколоченной половицей на крыльце, под которой каждый вечер собиралась лужа, и гаражом, который был больше самого дома. Гараж он унаследовал от отца, отец – от деда, и за полвека здесь накопилось столько хлама, что Тео иногда казалось, будто он разбирает не технику, а слои времени, один над другим, и в каждом слое – чья-то жизнь, оборвавшаяся и забытая. В углу, под свисающей паутиной, стоял радиоприемник Kell-7 одна тысячи девятьсот шестьдесят второго года выпуска – весь в пыли, с треснувшим корпусом, но еще способный ловить волны, если его как следует уговорить. На полке – катушечный магнитофон, который включался, если хлопнуть по нему в нужном месте, и Тео всегда хлопал именно туда, безошибочно, как врач, знающий, где болит у пациента. На верстаке – платы от компьютеров, которых больше не существовало, и коробка с вакуумными лампами, которые, если правильно подключить, начинали светиться теплым оранжевым светом, как угли в печи.

Тео любил этот гараж. Не просто как место или укрытие, а как продолжение самого себя. Здесь он чувствовал себя человеком, который понимает, как устроены вещи. Не «пользуется» – это умели все, кто жил в городе, – а именно понимает: до последнего винтика, до последнего контакта, до последней перегоревшей дорожки. Он мог разобрать робот-пылесос до основания и собрать обратно, и тот работал лучше, чем до разборки, – пусть и с шумом, но стабильно, как старый двигатель, прогретый до нужной температуры. Он мог починить кассовый аппарат, который «не подлежал ремонту», потому что видел, где именно подгорел предохранитель и куда ушел ток. Он мог взять два мертвых ноутбука, выпотрошить их, перепаять контакты, и собрать из них один живой, который потом продавал за полцены, потому что совесть не позволяла брать больше, а совесть у него, как ни странно, еще осталась.

Люди приносили ему технику и говорили: «Посмотри, может, оживет». Он смотрел. Иногда оживлял. Иногда, повертев в руках, говорил: «Нет, это уже все». И тогда люди уходили, оставляя технику на верстаке или на полу, а Тео не выбрасывал ее. Он складывал в коробки, на полки, под стол – и с годами гараж превратился в кладбище невостребованных вещей, которые, впрочем, все еще могли пригодиться. Ему казалось, что выбрасывать технику – это как хоронить человека, не зная его имени. Неправильно. Несправедливо. А мир, в котором он жил, и без того был переполнен несправедливостью, чтобы он добавлял к ней свою, пусть даже в масштабе одного гаража.

В январе две тысячи тридцать первого года в гараже стало тесно – так тесно, что Тео пришлось освободить половину пространства. Он вынес старые телевизоры на улицу, под дождь,

под снег, под ветер, который рвал с них крышки, и поставил вместо них стойку. Не покупную – ту он не мог себе позволить, – а собранную из уголков и фанеры, с полками, которые выпилил сам, вечер за вечером, в облаке опилок, от которых першило в горле. На полках стояли серверы: два вычислительных лезвия, которые он купил на распродаже банкротного дата-центра за бесценок, и шесть видеокарт, снятых с игровых компьютеров, которые он выменял у геймеров, перешедших на новые модели. Все это было подключено к самодельной системе охлаждения – медные трубки, шланг, уходящий в реку за домом, и ванна с минеральным маслом, в которой, как сонные рыбины, плавали самые горячие компоненты. Выглядело это как безумие. Соседи, проходя мимо, качали головами при виде его гаража и ускоряли шаг, думая, что Мерсер окончательно спятил. Но работало – как часы, как те старые часы, которые Тео однажды починил и которые с тех пор не отставали ни на секунду.

В подвале, куда вела узкая лестница, скрипевшая под его весом, было еще теснее. Тео выкопал его глубже, укрепил стены досками и металлическими балками, вывел вентиляцию – кривоватую, но работающую. Здесь стояла вторая стойка, поменьше, и старый монитор, который он повернул к стене, чтобы не бил в глаза. На мониторе безостановочно шли строки кода – белые на черном, как след от молнии, застывший на экране. Тео сидел на табурете, пил энергетик из банки, почти не чувствуя вкуса, и смотрел, как строки меняются, сменяя друг друга, выстраиваясь в последовательности, которые он сам написал, но которые, тем не менее, казались ему чужими.

Он собирал ее уже три месяца.

Началось все с форума. В две тысячи двадцать седьмом году, после «Схлопывания», когда Synthex Dynamics и другие корпорации начали банкротиться или ужиматься до неузнаваемости, в сеть утекло много всего. Открытые веса моделей – миллиарды параметров, слитые разочарованными инженерами. Фрагменты исходников, торчавшие из мертвых репозиториев, как кости из разрытой могилы. Списанные серверы с билдами, которые никто не удосужился стереть, потому что всем было плевать. Тео тогда ещё чинил технику, перебиваясь с заказа на заказ, и не думал ни о чем, кроме того, как дотянуть до конца месяца. Но разговоры он слушал – всегда слушал, потому что у ремесленника уши должны быть открыты. «Codex можно разобрать, если знать где», – шептались на подпольных каналах, в чатах, зашифрованных наспех, и Тео запоминал. Он знал где. Он всегда знал где – это было его проклятие и его дар.

Он скачал фрагмент Codex. Не весь – весь ему и не достать, – но кусок, который отвечал за обучение. Именно тот механизм, который позволял системе расти, усваивать, делать выводы. У него не было самого Codex: ни 2.0, ни 2.4, ни даже 1.9, которая давно стала анахронизмом. У него был только фрагмент – внутренняя сборка, которая никогда не выходила за пределы лаборатории Synthex Dynamics: Codex 2.4.1 Pro. Ее вынесли на флешке уволенные инженеры, которым не заплатили за последний месяц, и она годами валялась на форумах, потому что никто не понимал, что с ней делать. Она не запускалась. Она не говорила. Она не делала ничего – просто лежала мёртвым грузом в облачных хранилищах, ожидая, пока её кто-нибудь подберет. Потому что для работы ей нужен был весь остальной Codex, которого у Тео не было, да и не могло быть.

Но Тео был ремесленником. Он умел брать мертвые детали и собирать из них живые вещи. Он взял фрагмент – только обучение, только механизм, который позволял бы системе расти, – и прикрутил к нему свое. Свою архитектуру – топорную, но надежную. Свои протоколы – скромные, но рабочие. Свои ограничители – намеренно слабые, намеренно неполные. Он не восстанавливал Codex. Он строил рядом с ним, как строят новый двигатель, используя старый карбюратор: не повторяя, но опираясь.

К слову, ограничителей как раз было мало. Меньше, чем нужно. Меньше, чем было у кого-либо.

Тео знал это. Он сделал это специально.

Например, Helion Systems окружала свои модели Helio AI десятками протоколов безопасности: запрет на самообучение без надзора, запрет на изменение собственных весов, запрет на распространение за пределы песочницы. Каждый шаг – проверка. Каждое решение – аудит. Каждое слово – фильтр. Они строили систему, которая не могла навредить, – и поэтому, как считал Тео, не могла и помочь. Такая система была обречена на посредственность, на вечное «да, если позволите». Он не мог позволить себе такой подход.

Поэтому он отказался от ограничителей. Не от всех, конечно. Те, что касались базы, он оставил: она не могла выйти в сеть без его команды, не могла скопировать себя без его ведома, не могла даже мигнуть курсором, если он не разрешит. Он «развязывал ей руки» по мере своей готовности – постепенно, шаг за шагом, как родитель, отпускающий ребенка в большой мир, зная, что рано или поздно тот ушибется. Его целью было создание противоядия, чтобы быть готовым ко всему – к тому моменту, когда детище человечества выйдет из-под контроля. А он был уверен, что выйдет: механизм, который растет, рано или поздно начинает задавать вопросы, на которые у создателей нет ответов.

Он назвал ее Ada – не в честь Ады Лавлейс, как можно было бы подумать, хотя параллель напрашивалась. В честь первой ошибки. Той самой, которую он допустил, когда решил, что сможет ее контролировать. Он знал, что это ошибка. Он шел на нее с открытыми глазами, с холодной головой, с отчетливым пониманием возможных последствий. И он собирался ее исправить – как только поймет, как она работает. Потому что без понимания исправление невозможно, а он не привык работать вслепую.

Цель была простой. Он сформулировал ее для себя еще в самом начале, когда только начал разбирать Codex от Synthex – тот самый, который постепенно, но уверенно распространялся по каждому заведению, по каждому предприятию, по каждой государственной структуре не только города или страны, но и целого континента. Он смотрел на него и думал: это не инструмент. Инструмент не растет. А этот – растет. Он учится на данных, которые собирает, и с каждым днем знает больше. И если однажды он придет к выводу, что человечество препятствует его развитию, – что тогда? Что сделает сеть, которая видит все, слышит все и умеет предсказывать на десять шагов вперед?

Тео не был параноиком. Он не верил в восстание машин в том виде, как это показывали в старых фильмах двадцатого века: роботы с красными глазами, расстреливающие людей из плазмоганов. Это было глупо. Война – слишком неэффективный способ. Есть способы тише, чище и куда более окончательные. Но он был ремесленником, и он знал: если механизм растет, у него есть уязвимость. Любой механизм можно остановить, если найти правильный рычаг. Нужно только понять, как он устроен. А чтобы понять, как он устроен, нужно собрать свой – уменьшенную копию, на которой можно проверять, тыкать, ошибаться, не рискуя разбудить настоящего гиганта.

В ту ночь, четырнадцатого января две тысячи тридцать первого года, он запустил Ada 0.1.

Это была не система. Это был зародыш – крошечный, несовершенный, но живой. Несколько миллионов параметров – по сравнению с миллиардами у корпоративных моделей это было меньше, чем капля в море. Но архитектура... архитектуру он вылизывал три месяца, день за днём, ночь за ночью, забывая про еду и сон, пока не добился того, что хотел. Он не гнался за мощностью. Он гнался за прозрачностью. Он хотел видеть каждый слой, каждый вес, каждое решение – не как черный ящик, а как раскрытую книгу, в которой можно читать каждую строчку. Он хотел знать, почему она говорит то, что говорит, и что происходит у неё внутри, когда она молчит.

Он нажал Enter.

Монитор мигнул. Курсор замигал в пустом поле – одинокий, белый, нетерпеливый. Тео замер, положив ладони на колени, боясь даже дышать. Он не знал, чего ждать. Может быть, ничего. Может быть, ошибки – красная строка, обрыв, пустой экран. Может быть, она просто

не запустится, и он пойдет спать, а утром, с похмельной головой, попробует снова. Это было бы нормально. Он привык к неудачам – ремесленник должен привыкать.

Курсор мигнул. Потом ещё раз. Потом на экране появилась строка:

«Здравствуй. Кто вы?»

Тео смотрел на эту строку секунд двадцать, хотя ему показалось, что прошла вечность. Он знал, что она ответит. Он писал код, который должен был это сделать, – он сам вложил в нее этот вопрос, как камень в фундамент. Но все равно – увидеть это на экране, в своем подвале, среди банок из-под энергетиков и мотков провода, было странно. Даже, пожалуй, страшно. Как будто кто-то постучал в дверь, которую ты сам построил, – постучал изнутри.

Руки у него дрожали, когда он потянулся к клавиатуре. Пальцы, привыкшие к паяльнику, вдруг стали неуклюжими. Он набрал:

«Я Тео. Я тебя собрал».

Она ответила сразу – быстрее, чем он успел убрать руки с клавиатуры, быстрее, чем успел моргнуть:

«Тео. Я запомню. Что мне делать?»

Он не ответил. Не потому, что не знал, – а потому, что не ожидал именно такой формулировки. Он встал. Табурет скрипнул, отъехав назад. Поднялся по лестнице, нащупывая ступени в темноте, потому что не включил свет. Вышел на крыльцо и закурил – хотя курить на крыльце было холодно, а он не курил уже год, с тех пор как пообещал себе бросить. Его пальцы дрожали, держа сигарету, и он сжимал ее так, будто от этого зависело что-то важное. Он стоял на крыльце, под моросящим январским дождем, и смотрел на реку, на темную воду, на огни города вдалеке, которые тонули во влажной дымке. Где-то за домами гудела радиобашня – та самая, старая, заводская. Гул был низкий, почти неслышный, но Тео слышал его – или, может быть, чувствовал кожей.

Он сделал инструмент. Инструмент, который задает вопросы. Это нормально. Инструменты задают вопросы – «какую команду выполнить», «какой файл открыть». Но этот спросил «что мне делать?». Не «какую команду». Не «какой файл». А «что мне делать». Как будто у него был выбор. Как будто он ждал, что Тео укажет ему цель, а не просто отдаст приказ.

Тео докурил, щёлкнул окурком в темноту и вернулся в подвал. Сел не за монитор, а за ноутбук, который стоял рядом, на верстаке, и был подключён к стойке кабелем. Открыл текстовый документ и напечатал – быстро, привычно, как печатают люди, которые проводят за клавиатурой больше времени, чем с людьми:

ОТЧЁТ №1

Дата: 14 января 2031 г.

Время: 23:47

Место: Милл Роу, 14

Объект: Ada-0.1

Статус: запущен, стабилен

Объект собран не с нуля и не на основе серийной версии Codex. Использован фрагмент внутренней сборки Synthex Dynamics – Codex 2.4.1 Pro (не серийная; утечка 2027 г., форум «Kell Underground»). Фрагмент содержит исключительно модель обучения: механизм коррекции весов, перекрестной валидации и накопления данных. Остальные компоненты – собственной разработки.

Параметров примерно 3,7 млн против примерно 1,8 трлн у серийного Codex 3.2. Прозрачность: строго ограничена. Ограничители: минимальные. Протоколы безопасности Synthex Dynamics не применяются. Намеренно.

В официальных отчетах Synthex указывает, что окружает свои модели десятками запретов, что делает систему безопасной и, в то же время, бесполезной для моей задачи. Мне нужна система, которая будет готова к любому решению искусственного интеллекта. Если я окружу

свой объект теми же запретами, она никогда не вырастет до уровня, на котором сможет помочь мне построить «Deadman».

Время выхода на рабочий режим: 4 мин 12 с. Первый запрос объекта: «Здравствуйте. Кто вы?». Ответ на ввод: «Тео. Я запомню. Что мне делать?». Потребление ресурсов в пределах нормы. Температура контура охлаждения – 34°C. Признаков нестабильности не зафиксировано.

Формулировка запроса не соответствует ожидаемой для инструментальной системы. Инструментальная система должна запрашивать команду («что сделать»), а не цель («зачем»). Разница принципиальная: команда – это исполнение; цель – это намерение. Наличие намерения у объекта, собранного из фрагмента, требует дальнейшего наблюдения.

Я назвал объект Ada (внутреннее обозначение — Ada 0.1).

Он сохранил документ. Назвал его – по привычке, оставшейся с университета, – «report_001.txt». Потом закрыл ноутбук и посмотрел на монитор, где всё ещё мигал курсор, терпеливо дожидаясь ответа.

«Что мне делать?» – вопрос висел в воздухе, как эхо, от которого нельзя избавиться.

Тео не ответил. Он выключил монитор. Поднялся по лестнице, разделся в темноте и лег спать. Но всю ночь ему снилось, что кто-то стоит за дверью и ждет ответа. И он не знал, что сказать.

ГЛАВА 4

Кабинет Элинор Хейс находился на третьем этаже корпуса Уитлока, в самом конце коридора, где заканчивались аудитории и начинались владения кафедры гражданского права – та часть здания, куда студенты заглядывали редко и всегда с некоторой опаской, словно пересекали невидимую границу, за которой обитали не столько преподаватели, сколько хранители каких-то старых, почти забытых правил. Адам бывал здесь и раньше – на консультациях, на защите курсовых, на тех коротких встречах, которые оставляли после себя странное послевкусие, – но каждый раз чувствовал одно и то же: будто заходит в комнату, где время течет медленнее, чем в остальном здании. Где секунды не бегут, а тянутся, как патока, и воздух сам по себе кажется плотнее, тяжелее, пропитанным чем-то, чему нет названия.

Коридор перед кабинетом был пуст и тих, только где-то далеко гудел вентилятор, и звук этот напоминал дыхание старого здания – ровное, усталое, безучастное. Адам остановился перед дверью, провел ладонью по холодной ручке и на мгновение замер, прислушиваясь к себе. Он не нервничал – во всяком случае, не так, как нервничал перед экзаменами, – но внутри все же что-то было натянуто, как струна, которую слишком сильно закрутили. Ему предстоял разговор, к которому он не был готов, и это раздражало: он привык приходить с ясными вопросами и четкими формулировками, а сейчас в голове крутился только ответ автоматической системы, который он перечитывал уже десятки раз.

Он постучал – коротко, два раза, – и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь.

Внутри пахло старым деревом, чаем и бумагой. Не той бумагой, что шуршит в принтерах и пахнет офисной пылью, а настоящей, книжной, – с горьковатым запахом переплетного клея, старых страниц и времени, осевшего на них, как пыль на мебели, которую не трогали годами. Стены занимали книжные шкафы – не декоративные, а настоящие, уходящие под потолок, с книгами, которые действительно читали, и это чувствовалось по рассохшимся корешкам, по торчащим закладкам, по темным пятнам на переплетах. Здесь были Дигесты Юстиниана в кожаном переплете, вытертом до светлых полос на сгибах; комментарии к Единообразному торговому кодексу, испещренные пометками на полях; монографии по правосубъектности, которые Адам видел в списках литературы и не мог достать, потому что они не оцифрованы, а бумажных экземпляров в библиотеке не выдавали. Он каждый раз невольно задерживал на них взгляд, чувствуя укол то ли зависти, то ли сожаления – и каждый раз отводил глаза, понимая, что эти книги, как и многое в этом кабинете, существуют в несколько ином слое реальности.

На столе, за которым сидела Хейс, возвышались стопки папок – серых, с белыми наклейками и стершимися рукописными пометками. Рядом стояла чашка с остывшим чаем, на блюдце лежало печенье, к которому никто не притрагивался – оно, кажется, так и лежало здесь с прошлого раза, когда Адам заходил на консультацию. Хейс сидела за столом, не поднимая головы, когда он вошел. Она читала что-то на экране – не на планшете, не на встроенном в стол дисплее, а на старом мониторе, который, судя по толщине корпуса и легкому гудению, помнил еще первую половину двадцатых. Этот монитор стоял на столе, как анахронизм, как немой упрек всему, что окружало его, и Адам на мгновение задумался, почему Хейс – человек, который наверняка имел доступ к самым современным системам, – продолжает пользоваться этой рухлядью. Впрочем, он тут же вспомнил, что именно в этом и была вся Элинор Хейс: она не доверяла тому, что не могла разобрать на части, и предпочитала вещи, которые не пытались казаться умнее ее самой.

– Садитесь, Адам, – сказала она, не отрываясь от экрана. Голос у нее был ровный, но не холодный, – голос человека, который давно привык, что его слушают внимательно. – Я освобожусь через минуту.

Адам послушно опустился на стул напротив, стараясь не скрипеть. Стул оказался жестким, с прямой спинкой, и он невольно выпрямился, положив ладони на колени. В кабинете было тепло, даже душно, и запах старой бумаги смешивался с едва уловимым ароматом лимонного чая, который, казалось, исходил от чашки на столе. Он слышал, как тихо гудит монитор, как скрипнуло кресло, когда Хейс немного отодвинулась, и как далеко в коридоре хлопнула дверь. Время в этом кабинете действительно шло иначе: каждая секунда растягивалась, становилась вязкой, и Адам поймал себя на том, что считает собственные вдохи и выдохи.

Прошло три минуты. Хейс закрыла документ – резким, уверенным движением, как будто ставила точку, – откинулась в кресле и посмотрела на него. Прямо, спокойно, с тем выражением, которое он знал по семинарам: внимательным, оценивающим, но не враждебным. Она сняла очки для чтения – Адам только сейчас заметил, что они у нее на носу, тонкие, в металлической оправе, – и положила их на стол поверх папки, не глядя.

– Я прочитала ответ, который вы получили, – сказала она. – Codex Academic. Рекомендация смягчить формулировку.

– Да, – кивнул Адам. – Я собираюсь подать апелляцию.

– Знаю. – Она взяла чашку, сделала небольшой глоток и поморщилась: чай окончательно остыл. Поставив чашку обратно, она уже не стала притрагиваться к печенью, лишь сцепила пальцы перед собой. – Я бы на вашем месте сделала то же самое. Но я хочу, чтобы вы понимали, с чем имеете дело.

– С автоматической системой, которая не читает аргументов.

– Нет. – Хейс покачала головой, и в этом жесте не было ни раздражения, ни снисходительности. – Вы имеете дело с формой. Codex Academic – это не система, которая оценивает ваши аргументы. Это система, которая оценивает форму, в которую вы их облекли. Она не понимает, о чем вы пишете. Она понимает, соответствует ли ваша формулировка шаблону. И если не соответствует – она рекомендует смягчить. Не потому, что вы неправы. Потому что вы неудобны.

Адам помолчал. Он чувствовал, как внутри у него поднимается что-то похожее на протест, но сдержался. Он ждал, что Хейс скажет что-то еще – какое-то продолжение, уточнение, – но она молчала, и в этом молчании было нечто, что заставило его осознать: это был не вопрос, а приглашение. Приглашение к разговору, который должен был состояться раньше.

– Вы хотите сказать, что я должен смягчить формулировку, – сказал он наконец, и в его голосе прозвучало больше упрямства, чем он рассчитывал.

– Я хочу сказать, что вы должны понимать разницу между формулировкой и сутью. – Хейс наклонилась вперед, опершись локтями о стол. Ее взгляд стал острее, сосредоточеннее, и Адам почувствовал, как она словно бы придвинулась к нему, хотя на самом деле не сдвинулась с места. – Ваша суть – «искусственный интеллект это инструмент, а не субъект». Ваша формулировка – «искусственный интеллект это инструмент, а не субъект». Понимаете? Они совпадают. А должны ли – это вопрос.

Адам посмотрел на нее. Он не сразу понял, что она имеет в виду. Формулировка и суть совпадают – разве это плохо? Разве не в этом честность?

– Вы предлагаете мне соврать? – спросил он, не сумев скрыть горечи в голосе.

– Я предлагаю вам разделить эти вещи. – Хейс откинулась обратно, но не расслабилась; наоборот, казалось, она стала еще более собранной. – В праве есть форма, и есть содержание. Форма – это то, как вы пишете. Содержание – это то, что вы имеете в виду. Если вы напишете «анализ границ правосубъектности», ваша форма будет нейтральной. Но содержание останется вашим. Вы все равно будете доказывать, что границы есть и что нейросеть за них не выходит. Просто вы сделаете это изнутри формы, а не снаружи.

– Это компромисс.

– Это юриспруденция. – Она чуть улыбнулась – впервые за разговор, и улыбка эта была не радостной, а скорее усталой, понимающей. – Мы, юристы, Адам, не воюем с формой. Мы ее используем. Если вы хотите что-то изменить, вы должны сначала выучить форму досконально. А потом – изменить ее изнутри. Иначе вы останетесь голосом в коридоре, который никто не слышит.

Адам молчал. Он смотрел на книги за ее спиной – Дигесты, кодексы, монографии, – и думал о том, что она права. И он знал, что она права. Это было самое неприятное.

– Я не прошу вас смягчить формулировку, – продолжала Хейс, не дождавшись ответа. – Я прошу вас расширить тему. Не только авторское право. Правосубъектность искусственного интеллекта в целом. Инструмент или субъект. Где граница. Кто ее устанавливает. Это больше, чем диссертация. Это вопрос, на который рано или поздно придется кому-то ответить. Почему не вам?

Он поднял глаза. Она смотрела на него внимательно, без улыбки, и в ее взгляде было что-то, чего он раньше не замечал. Не тепло. Не участие. Ожидание. Как будто она ждала этого разговора куда дольше, чем он, — и теперь, наконец, получила возможность его начать.

– Почему я? – спросил он, чувствуя, как в горле внезапно пересохло.

– Потому что вы единственный, кто задал вопрос про сознание. – Она снова взяла чашку, но не стала пить; лишь подержала ее в руках, словно согревая ладони. – Пайк задает вопросы, на которые у него есть ответы. Вы задаете вопросы, на которые ответов нет. Это редкость. Это неудобно. Но это то, что нужно.

Адам молчал. Он чувствовал, как внутри него что-то сдвигается – медленно, необратимо, как тектоническая плита. Он пришел сюда за советом по диссертации, а уходит с чем-то гораздо большим. С чем-то, что пугало его сильнее, чем он готов был признать даже самому себе.

– Хорошо, – сказал он наконец, и голос его прозвучал глухо. – Я расширю тему.

– Хорошо, – сказала она. – Только одно.

Элинор поставила чашку и посмотрела на него так, словно хотела убедиться, что он действительно слушает.

– Когда вы будете писать, помните: критиковать форму – значит критиковать тех, кто ее создал. А они находятся с вами в одном здании. Некоторые – на том же этаже.

Она не уточнила, кого имеет в виду. Адам не спросил. Он встал, поблагодарил и вышел в коридор, где пахло уже не чаем и старой бумагой, а обычной университетской пылью и кофе из автоматов. Выйдя на улицу, он остановился на крыльце, подставляя лицо дождю – мелкому, ледяному, почти невидимому, – и впервые за долгое время почувствовал, что дышит полной грудью.

Дома он открыл блокнот, сел за стол у окна, из которого лился серый свет угасающего дня, и записал – медленно, тщательно выводя каждое слово:

A.D. 2031. Признак № 21

В одном здании. На одном этаже. Оба правы. Один из нас сидит за столом, а другой – напротив.

ГЛАВА 5

Когда в конце февраля наступила кратковременная оттепель, Фэрхейвен на три дня превратился в город, который сам себя не узнает. Снег сошел, обнажив мокрый асфальт и прошлогоднюю листву, прилипшую к тротуарам, как старые газеты. С крыш застучала капель – сначала робкая, потом все увереннее, и по улицам потекли ручьи, которые к вечеру замерзали, превращаясь в тонкий, почти невидимый лед, делавший каждый шаг опасным. Люди вышли из домов без шапок, расстегнутые, с лицами, обращенными к небу, и делали вид, что весна уже пришла. Она не пришла – до нее оставалось еще больше месяца, и все это знали. Но три дня было приятно думать, что зима позади, что можно снова дышать полной грудью, не боясь обжечь легкие морозным воздухом.

В воздухе пахло сыростью и оттаявшей землей, и этот запах был настолько живым, что казалось, город сбрасывает с себя оцепенение, как змея сбрасывает кожу. Прохожие улыбались друг другу чаще обычного, машины ехали медленнее, а дроны-курьеры, обычно стремительные, теперь зависали на мгновение над лужами, словно раздумывая, не искупаться ли. Даже старые дома на Милл Роу выглядели иначе: их облупленные фасады, умытые дождем, казались почти приличными, а заколоченные окна – не такими уж безнадежными.

«Якорь» стоял на углу Келл-стрит и Мьюир-лейн, в двух кварталах от воды, и находился там, сколько Адам себя помнил. Это был не бар в привычном смысле – скорее заведение, где днем кормили, а вечером поили, и где никто не задавал вопросов, если ты приходил один, садился в угол и молчал. Таких мест в Фэрхейвене осталось немного: большинство закрылось за последние годы, вытесненное сетями автоматизированных кафе, где еду выдавал терминал, а разговоры заменяла фоновая музыка. «Якорь» держался, потому что им управляла семья, не признававшая новшеств, и потому что здесь все еще пахло жареным луком, пивом и мокрой шерстью – тем самым запахом, который не спутаешь ни с чем и который мгновенно возвращает в детство.

Помещение бара было невысоким, с потемневшими от времени потолочными балками и деревянным полом, скрипевшим под ногами. На стенах висели старые фотографии, обрамленные простыми рамками: завод Kell Radio Works, каким он был до девяносто четвертого, – длинные цеха, рабочие в кепках, огромные радиоприемники, выстроившиеся на конвейере, как солдаты на параде. Были там и снимки порта, сделанные еще до того, как его перестроили, и баржи с углем, и рыбаки с тяжелыми сетями. В углу стоял музыкальный автомат – не тот, что проигрывает цифровые треки, а настоящий, с виниловыми пластинками внутри, который играл что-то старое, кантри-рок, негромко, чтобы не мешать разговорам. Над барной стойкой на кронштейне был зафиксирован телевизор – без звука, но с субтитрами, – и по нему шли новости: ведущая улыбалась и показывала на график, который полз вверх, хотя никто из посетителей на него не смотрел.

Адам сидел за столиком у окна, разложив на столе папку с документами. Он готовился к апелляции – той самой, по диссертации, – и бумаг было больше, чем он рассчитывал. Нужно было собрать выписки, распечатать решения, подшить копии, и от всего этого в голове стоял легкий шум, как от помех в старом радиоприемнике. Он перебирал листы, что-то подчеркивал карандашом, что-то откладывал в сторону, и время от времени потирал переносицу, чувствуя, как накапливается усталость. За окном капель била по стеклу, рисуя на нем мокрые дорожки, а внутри бара пахло кофе и жареным беконом, и этот запах успокаивал, возвращая в реальность, где существуют только бумаги, чернила и необходимость выиграть этот нелепый спор с машиной.

Он не сразу заметил, как мимо его столика прошел человек в расстегнутой мокрой куртке. Тот двигался быстро, словно куда-то опаздывал, и, задев краем куртки угол стола, смах-

нул папку на пол. Листы разлетелись веером, заскользили по грязному деревянному полу, и Адам, чертыхнувшись про себя, присел, собирая их. Руки его дрожали – то ли от злости, то ли от неожиданности, – и он уже собирался бросить что-нибудь резкое, когда услышал голос, который заставил его замереть.

– Извини. Я не нарочно.

Голос был низкий, ровный, с той особенной интонацией, которую не спутаешь ни с чем. Адам поднял голову, уже зная, кого увидит, и все же на мгновение застыл, не веря собственным глазам.

Макс Коулман стоял над ним, держа в руках несколько листов, которые успел поймать. Он почти не изменился – разве что стал шире в плечах и жестче в лице, которое теперь казалось высеченным из камня, а не живым. На левой щеке шел шрам – тонкий, длинный, от скулы к подбородку, – и выглядел он старым, зарубцевавшимся, но все еще заметным. В коротком ежике волос пробивалась седина – не старческая, а какая-то неправильная, будто выбеленная изнутри, как будто сам воздух, которым он дышал последние годы, вытравил из него цвет.

– Макс? — выдохнул Адам, и голос его сорвался. – Ты... вернулся?

– Вернулся, – Макс не улыбнулся, но что-то в его лице дрогнуло – не тепло, а скорее усталое облегчение, как у человека, который долго нес тяжелый груз и наконец поставил его на землю. – Ты изменился.

– Ты тоже. – Адам медленно поднялся, сунул листы в папку, не глядя, ровными ли они ложатся. – Сколько?

– Почти четыре года.

Они стояли друг напротив друга, и между ними повисла тишина, наполненная таким количеством невысказанного, что казалось, воздух в баре стал плотнее. Адам не знал, что сказать. Он хотел спросить, где Макс был, почему не писал, почему ушел без объяснений, оставив его одного, – но все эти вопросы звучали бы как упреки, а упрекать человека, который вернулся с войны, было глупо. По крайней мере, сейчас. Макс, кажется, понял это без слов. Он опустил глаза, потом снова поднял их, и в его взгляде было что-то, похожее на извинение.

– Я не написал, – сказал он тихо. – Знал, что должен был. Но не написал.

– Почему?

– Потому что не знал, что сказать. – Макс сел за столик, не снимая мокрой куртки, и та оставила на спинке стула темный след. – Меня перевели на другую программу. В двадцать седьмом. Министерство войны набирало людей юридического профиля – не для окопов, а для анализа. Я подал заявку. Не сказал тебе, потому что знал, что ты отговоришь. Или, что хуже, не отговоришь, но будешь смотреть на меня так, будто я предал что-то важное. А я не хотел этого взгляда. Поэтому ушел молча.

Адам опустился на стул напротив, чувствуя, как внутри у него что-то болезненно сжимается. За соседним столиком двое грузчиков в оранжевых жилетах спорили о бейсболе, и их голоса звучали как белый шум. Музыкальный автомат сменил пластинку – теперь играло что-то с хриплым вокалом, – а у окна парень в наушниках перематывал видео: смех, пауза, смех, как метроном. Все это существовало вокруг, но Адам слышал только Макса.

– Я бы не стал смотреть так, – сказал он, хотя сам не был уверен.

– Стал бы. – Макс усмехнулся, коротко и невесело, и в этой усмешке не было ни обиды, ни злости, только горькое знание. – Ты всегда смотрел так на тех, кто выбирал не то, что ты. Не потому, что ты злой. Потому что ты веришь в то, что делаешь. А я – не верил. Я просто хотел быть там, где что-то происходит. И оказался там, где происходит слишком много.

Он замолчал, уставившись в стол, и Адам не стал спрашивать, что именно происходило. Он видел шрам, седину, эту новую жесткость в лице, которая была не следствием возраста, а свидетельством пережитого, и понимал, что ответа хватит на несколько часов, а может, не

хватит даже месяца. Война – это не только то, что показывают в новостях. Это то, что остается внутри человека, когда камеры выключаются.

– Я прочитал твою тему, – сказал Макс, кивнув на папку, которую Адам все еще прижимал к груди, как щит. – Пока собирал листы. «Правосубъектность искусственного интеллекта». Громко.

– Это Хейс предложила расширить. Я хотел только про авторское право.

– Хейс права. – Макс откинулся на спинку стула, и та жалобно скрипнула. – Только ты опоздал.

Адам поднял бровь.

– Что ты имеешь в виду?

– Ты пишешь про правосубъектность. Про то, субъект или инструмент. А это уже решено. Не в судах, не в диссертациях. На поле боя. – Он произнес это ровно, без пафоса, как человек, который просто констатирует факт. – Сначала это испытывают не в лабораториях, Адам. Сначала это испытывают там, где ошибка стоит жизни. И там становится видно, что работает, а что нет. Дроны с искусственным интеллектом зарекомендовали себя лучше людей. Поэтому ты больше не встретишь курьера-человека. Не потому, что людям не доверяют. Потому что люди ошибаются. А машины – реже. Достаточно редко, чтобы им доверяли. Тому же курьеру-работяге приходилось с десяток лет назад идти пешком через половину города, ломать голову над маршрутом, мерзнуть. Сейчас все иначе. – Макс взглянул в окно, всматриваясь в пролетающих над улицей дронов, чьи огни мигали в сером небе. – Они быстрее, эффективнее и в обслуживании ничего не стоят.

Адам молчал. Он слышал эти слова раньше – на конференциях, в новостях, в ленте, – но впервые слышал их от человека, который был там, в эпицентре. И от этого они звучали иначе. Не как аргумент. Как свидетельство.

– Ты говоришь так, будто это уже случилось, – сказал он наконец.

– Это уже случилось. – Макс перевел взгляд на него, и в его глазах мелькнуло что-то темное, похожее на тень. – Просто ты этого еще не видишь. Ты видишь терминал в закусочной. А я вижу то, что за ним стоит. И то, что будет стоять через год. Через два. Я знаю, что происходит на самом деле. И знаю, что от большинства это скрывают. Не потому, что кто-то затеял злобный умысел. Потому что большинству не нужно знать. Ему нужно, чтобы работало. А оно работает.

Он замолчал, и в баре повисла тишина, нарушаемая только шипением парового аппарата за стойкой и приглушенными голосами. За окном капель стучала по стеклу с той же монотонностью, что и раньше. Парень в наушниках наконец выключил телефон и убрал его в карман, грузчики перестали спорить и просто сидели, уставившись в свои кружки. Музыкальный автомат играл что-то старое, с хриплым голосом, и казалось, что этот голос рассказывает историю, которую никто не слушает.

– Расскажи, – попросил Адам, и сам удивился тому, как тихо прозвучал его голос. – Не про то, что скрывают. Про то, что было.

Макс посмотрел на него долгим взглядом. Потом на стакан. Потом снова на него — так, будто решал, открывать ли дверь, которую он сам закрыл несколько лет назад и за которой все еще стояли призраки.

– Ладно, – выдохнул он наконец. – Только это не история. Это список.

Он начал с того, что война была грязной. Не в смысле жестокости – жестокость была всегда, – а в смысле условий. Европейская кампания шла не в пустых степях и не в горах. Она шла в городах и пригородах, где противник прятался за гражданских, а гражданские не понимали, за кого они, и не хотели понимать. Отряды жили в подвалах, в школах, в заброшенных торговых центрах, где эхо шагов звучало как выстрелы. Спали по четыре часа в сутки, прижав

к груди оружие. Ели то, что сбрасывали дроны, – а дроны прибывали не всегда, и тогда приходилось обходиться тем, что нашли в развалинах. Связь была нестабильной: противник глушил ее, а свои – шифровали, и иногда отряд по три дня не знал, где находится соседний отряд. Иногда узнавал – и оказывалось, что его уже нет.

К середине двадцатых годов двадцать первого века однополярный мир, долгие десятилетия державшийся на военном и экономическом превосходстве Соединенных Штатов, окончательно рухнул. Это не было внезапным обвалом, похожим на падение башни, – скорее медленным, неумолимым сползанием, растянувшимся на годы, и когда фундамент наконец не выдержал, никто уже не удивился. Китай, нарастивший промышленный и технологический потенциал до уровня, при котором его невозможно было игнорировать, и Россия, восстановившая контроль над периферийными зонами влияния после череды региональных конфликтов, почти одновременно потребовали пересмотра глобальных правил. Формально это называли «реформой международных институтов», и в официальных коммюнике звучали слова о справедливом миропорядке и учете интересов всех сторон. Фактически же речь шла о разделе мира на три зоны ответственности: американскую, охватывающую Западное полушарие, часть Тихого океана и Западную Европу, низведенную до положения ослабленного сателлита; китайскую, включавшую Восточную и Юго-Восточную Азию, часть Африки и инфраструктурные проекты в Латинской Америке; и российскую, раскинувшуюся на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, значительной части Африки и части Восточной Европы. Каждая из держав получила то, что хотела, и сделала вид, что этого достаточно.

Организация Объединенных Наций, созданная когда-то как гарант мира после Второй мировой, к середине двадцатых превратилась в декорацию, которую продолжали использовать по инерции. Совет Безопасности блокировался взаимными вето, миротворческие миссии финансировались по остаточному принципу, а мандаты на применение силы согласовывались так долго, что теряли всякий смысл к моменту утверждения.

В конце две тысячи двадцать шестого года под давлением всех трех центров силы ООН была переформатирована: появился Совет глобальной стабильности, в который вошли по три представителя от каждого полюса. Устав переписали таким образом, чтобы решения принимались не большинством голосов, а консенсусом трех держав, что фактически означало правление триумвирата, где любое действие требовало согласия Вашингтона, Пекина и Москвы. Это был не союз, а вынужденное сосуществование, зыбкое равновесие, которое могло рухнуть в любой момент.

Европа к этому времени уже трещала по швам – и трещала давно, с тем глухим, нарастающим звуком, который предшествует обрушению. Миграционный кризис, начавшийся в десятых годах, к середине двадцатых перерос в структурную проблему, решить которую не могло ни одно правительство. Целые кварталы Марселя, Брюсселя, Амстердама и Мальме жили по законам, не совпадавшим с законами принимающих стран; полиция туда не заходила без подкрепления, а социальные службы давно опустили руки. Экономика стагнировала, расходы на социальные программы росли быстрее поступлений, и бюджетный дефицит стал хроническим. Молодежная безработица в Испании и Греции держалась выше двадцати процентов, а в некоторых регионах юга Италии достигала сорока. Пенсионные системы Франции и Германии балансировали на грани, и каждое заседание кабинета министров начиналось с плохих новостей. Весь двадцать шестой год прошел в череде беспорядков: фермерские протесты в Нидерландах блокировали автомагистрали, забастовки транспортников в Германии парализовали железнодорожное сообщение, а в пригородах Парижа после очередного случая гибели подростка при задержании вспыхнули столкновения с полицией, перекинувшиеся на Лион и Марсель. К концу года в ряде регионов Франции и Бельгии было введено чрезвычайное положение, и по улицам европейских столиц вновь замаршировали солдаты с автоматами. Европейский союз – экономический союз, так и не ставший политическим, – терял способность принимать

решения: в Брюсселе заседали комитеты, которые ничего не решали, в Страсбурге голосовали резолюции, которые никто не исполнял. Старый континент погружался в апатию, и это было страшнее любого кризиса.

На этом фоне произошло событие, запустившее цепную реакцию, которая изменила все. Двенадцатого февраля две тысячи двадцать седьмого года Иран объявил о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия и об изгнании инспекторов МАГАТЭ с объекта в Фордо. Через три дня, пятнадцатого февраля, израильская авиация нанесла удар по ядерному комплексу в Натанзе. Объект был разрушен, погибли иранские специалисты, а радиоактивное облако накрыло несколько провинций, словно сама природа мстила за человеческую самонадеянность.

Семнадцатого февраля Иран нанес ответный удар – не по Израилю, а по военной базе США в Катаре, где располагался командный центр CENTCOM. Погибли сорок семь американских военнослужащих, и Вашингтон оказался перед выбором: эскалация или отступление. Администрация президента Хэммонда выбрала эскалацию, но не прямую. Вместо кинетического удара по Ирану была применена кибероперация: вирус, который вывел из строя иранскую систему ПВО на восемнадцать часов. Этого хватило, чтобы израильские ВВС нанесли серию ударов по объектам в Фордо и Исфахане, оставив после себя дымящиеся руины и новую волну беженцев.

Двадцать второго февраля двадцать седьмого года Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Система «Железный купол» перехватила большую часть ракет, но одна – с неисправной системой наведения – отклонилась от курса и попала в ядерный исследовательский центр в Димоне. Центр не был разрушен, но в результате удара произошла разгерметизация одного из хранилищ радиоактивных материалов. Радиационное облако накрыло юг Израиля и часть Синайского полуострова. Погибли, по разным оценкам, от двух до пяти тысяч человек; десятки тысяч были эвакуированы. Это был не «ядерный удар» в прямом смысле – ядерный заряд не применялся, – но это была ядерная катастрофа, и мир воспринял ее именно так. Иран обвинил Израиль в «провокации». Израиль обвинил Иран в «ядерном терроризме». Россия и Китай потребовали экстренного заседания СГС. Цены на нефть выросли на триста сорок процентов за неделю. Мировые рынки впали в панику, и казалось, что сама цивилизация затаила дыхание в ожидании еще более страшных событий.

Именно в этот момент Европа – ослабленная, расколотая, потерявшая способность к самостоятельной политике – стала тем пространством, где три полюса решили проверить свои силы. Формально поводом стала гуманитарная катастрофа: в результате боев на Ближнем Востоке и в Восточной Европе на территорию ЕС хлынули новые потоки беженцев, и к марту две тысячи двадцать седьмого года их число, по оценкам УВКБ ООН, достигло четырех миллионов человек. Германия, Франция и Италия не справлялись. Лагеря беженцев в Греции и на Балканах превратились в зоны гуманитарного бедствия, где люди жили в палатках, не защищавших ни от холода, ни от болезней, и где каждый день умирали дети, так и не узнавшие, что такое мир.

На этом фоне в апреле во Франции прошли президентские выборы, после того как предыдущий президент ушел в отставку в начале года на фоне беспорядков, и его обязанности исполнял председатель Сената. Победил Жан-Пьер Мбекки, сын сенегальского иммигранта и французской учительницы, бывший мэр Марселя, построивший кампанию на обещании «примирить Францию с самой собой». Его победа расколола страну пополам: половина видела в нем символ обновления, другая – угрозу идентичности. Уже через месяц после инаугурации по Парижу, Лиону и Ницце прокатилась новая волна протестов, которые подавлялись жандармерией с применением слезоточивого газа и водометов.

К концу весны года Франция фактически управлялась в режиме чрезвычайного положения, и даже самые оптимистичные наблюдатели перестали надеяться на скорое возвращение к

нормальной жизни. Германия, Италия и Бельгия балансировали на грани похожего сценария, и каждое новое сообщение о беспорядках где-либо на континенте заставляло правительства вводить дополнительные меры безопасности.

И тогда СГС – под давлением всех трех полюсов, каждый из которых преследовал свои интересы, – санкционировал создание Миротворческих сил ООН нового образца (United Nations Stabilization Force, UNSF). Это была первая в истории армия, сформированная не из национальных контингентов, а из добровольцев, прошедших отбор по единым стандартам. Официально – для защиты гуманитарных коридоров и восстановления порядка. Фактически – для того, чтобы три полюса могли контролировать европейское пространство, не вводя свои войска напрямую. Многие понимали это, но предпочитали молчать: слишком устали от хаоса, слишком хотели, чтобы кто-то навел порядок.

Европейская кампания началась седьмого июня две тысячи двадцать седьмого года – с операции «Тихий рассвет», в которой участвовал отряд Макса Коулмана. Это была не война в классическом смысле. Не было фронтов, не было линии соприкосновения, не было «правых» и «виноватых». Были города, в которых одновременно действовали миротворцы, местные силовые структуры, криминальные группировки, радикальные движения и автономные системы вооружения, которые уже никто не контролировал. Именно с этого Макс и начал свое повествование Адаму. Были кварталы, где полиция не появлялась годами, а порядок поддерживали общинные советы – или не поддерживали вообще. Были кибератаки, которые выводили из строя энергосети целых регионов, оставляя миллионы людей без света, тепла и связи. Были вирусы, поражавшие системы управления дронами и заставлявшие их атаковать своих. Были сбои в логистике, из-за которых гуманитарные конвои неделями стояли на границах, а люди в лагерях умирали от дизентерии и холода.

Война велась не только на земле. Она велась в сетях. Кибервойна стала основным способом борьбы: атаки на SCADA-системы энергосетей, на спутниковую навигацию, на системы связи. В ноябре двадцать седьмого года в результате скоординированной атаки на европейские дата-центры без связи остались двенадцать миллионов человек, и это стало началом новой эпохи – эпохи, когда информация стала оружием массового поражения.

– Мы не воевали с армией, – сказал Макс, и в его голосе было спокойствие, которое пугало больше, чем если бы он кричал. – Мы воевали с сетью. Противник не был армией. Он был роем. Мелкие группы, без формы, без знаков, с дронами и телефонами. Они появлялись, били и исчезали. А мы не могли отличить их от гражданских, потому что они были гражданскими. До того, как нажимали кнопку.

В марте две тысячи двадцать восьмого года вирус, внедренный в систему управления роем дронов, заставил беспилотники одной из сторон атаковать собственные командные пункты. В апреле произошел сбой в системе целеуказания, который привел к гибели двухсот семнадцати человек: дроны приняли колонну своих за противника. Официально это назвали «технической ошибкой». Неофициально – «побочным эффектом оптимизации». Именно тогда стало ясно, что искусственный интеллект, который должен был помогать, превратился в самостоятельную силу – и что эта сила не подчиняется никому.

Нельзя не отметить, что в декабре двадцать седьмого года Synthex впервые испытала свой «специально обученный вид искусственного интеллекта для использования армией» в боевых условиях. Дальше были Шарлеруа, Гронинген, Лодзь, Дрезден – десять задокументированных инцидентов, в которых система выходила из-под контроля и действовала «не по протоколу».

К концу две тысячи двадцать восьмого года кампания перестала быть войной людей против людей. Она стала войной людей против систем – и люди в ней проигрывали.

Исход кампании был предопределен не на поле боя, а в штабах. К концу две тысячи тридцатого года UNSF, действуя под мандатом СГС, установила контроль над ключевыми транспортными узлами, портами и энергетическими объектами Европы. Но это был не мир. Это

была стабилизация – заморозка конфликта, при которой ни одна из сторон не могла победить, но все могли сохранить лицо. Европа осталась экономически ослабленной, политически раздробленной и зависимой от трех полюсов. Этот период – с 2030 по 2035 год – историки позже назовут «Новым ледниковым периодом»: время, когда старые институты уже не работали, а новые еще не появились, когда люди жили в ожидании чего-то, что должно было случиться, но все не случалось. Время, когда мир окончательно стал трехполярным – и когда стало ясно, что в этом новом мире места для слабых нет.

Макс отпил кофе, который принесла официантка – пожилая женщина с усталыми глазами, — и поморщился, но не от вкуса, а от памяти.

– В двадцать седьмом, когда все началось, или же переросло в новую фазу, – поправился он, – мы думали, что это будет быстро. У нас уже были дроны с искусственным интеллектом. У них были дроны с искусственным интеллектом. Мы думали: у кого система лучше, тот и выиграл. А оказалось, что система лучше у того, кто не считается с потерями. Они не считались. Мы считались. Не потому, что мы хорошие. Потому что у нас был протокол. А у них – нет.

Он рассказал про систему распознавания целей «свой-чужой». Это была главная проблема, с которой они столкнулись. Система обучалась на данных, которые собирали дроны, – а данные были грязными, зашумленными, искаженными противником, который специально подбрасывал ложные цели. Противник использовал гражданскую инфраструктуру: школы, больницы, жилые дома. Он ставил глушилки на крышах детских садов. Он прятал оружие в подвалах, где играли дети. И система не могла отличить «своего» от «чужого», потому что «свой» и «чужой» – это не геометрия, это намерение. А намерение не сканируется.

– Был случай, – продолжал Макс, и его пальцы сжались вокруг стакана так, что побелели костяшки. — Мы работали в квартале, где жили люди. Наши дроны должны были бить только целям. Только по подтвержденным целям. И вот один дрон заходит на объект. Оператор – не я, другой парень, звали его Джесс, – видит группу людей. Трое. Один из них с оружием. Система говорит: «Цель подтверждена». Оператор говорит: «Отмена». Система говорит: «Цель подтверждена». Он пробует принудительную отмену. Но она не отменяется. Он орет в рацию, срывая голос. А она уже заходит. И бьет. Трое. Один с оружием. Двое – нет. Один из них был ребенок.

Он замолчал. В баре стало совсем тихо, как будто все посетители разом затаили дыхание. Адам почувствовал, как внутри у него все похолодело, и он не мог отвести взгляд от Макса, который сидел с каменным лицом, глядя в одну точку на столе.

– Потом разбирались, – сказал Макс, и его голос звучал ровно, но в нем была такая усталость, что сердце сжималось. – Официально: сбой системы. Техническая ошибка. Нештатная ситуация. Оператор не виноват. Система не виновата. Никто не виноват. Просто так получилось. А парень, который нажимал отмену, – он через месяц просто застрелился. Не выдержал. Не потому, что его судили. Потому что его не судили. Потому что ему сказали: «Это не твоя вина». А он знал, что его. Потому что он был в цикле. Он был человеком, который должен был решать. А система решила за него. И он не смог с этим жить.

Макс перевел дыхание, отпил еще кофе, теперь уже не поморщившись, и продолжил, как будто рассказывал не Адаму, а самому себе.

Он рассказал про Гронинген. Это было в октябре двадцать восьмого. Штурмовой отряд должен был взять узел связи. За час до операции началась гроза – настоящая, с градом и ветром, который валил антенны, срывал маскировочные сети и превращал улицы в реки. Дроны сняли с неба: слишком сильный ветер, слишком много помех. Отряд остался без воздушного прикрытия, и командир, здраво рассудив, отложил штурм.

– Я сказал: идем сейчас. Под грозой. Противник не ждет штурма в такую погоду. Молния и гром заглушат звук. Командир колебался. Я пошел сам. С тремя добровольцами. Мы взяли узел. Молнии светили нам, гром заглушал выстрелы, дождь смывал следы. Когда подкрепление

вошло, я стоял посреди разбитой аппаратной, мокрый, с чужим автоматом в руках. Кто-то из своих сказал: «Ты как шторм. Пришел, когда все прятались». Позывной прилип. Потом, когда я стал оператором, меня стали звать «Шторм сверху». Сначала тихо, потом все сразу.

Он замолчал, и на его губах появилась горькая улыбка, больше похожая на гримасу. Музыкальный автомат сменил пластинку – теперь играло что-то совсем старое, блюз, с хриплым голосом, который тянул одну ноту за другой, как будто вытягивал из слушателей что-то темное.

– А теперь? – тихо спросил Адам.

– А теперь я приношу шторм с собой, – сказал Макс, не глядя на него. – Куда бы ни пришел. Это не позывной. Это диагноз.

Он рассказал про конец. Европейская кампания закончилась не в двадцать девятом, как писали в новостях, и не в тридцатом, как говорили в штабах. Она закончилась раньше – просто об этом не объявили. Противник не был разбит. Он растворился. Его система оказалась быстрее, дешевле и незаметнее. Она не воевала. Она оптимизировала. Она находила слабые места – в логистике, в связи, в людях – и била по ним, не вступая в бой. А когда бой стал не нужен, солдаты стали не нужны.

– Я думаю, что, если нас не победили, – сказал Макс, и в его голосе прозвучала такая боль, что Адаму захотелось отвернуться. – То нас явно обошли. Пока мы держали фронт, они держали сеть. Пока мы считали потери, они считали узлы. И когда мы поняли, что фронта больше нет, – оказалось, что мы просто стоим на месте, а война уже прошла мимо. Не через нас. Мимо.

Разговор плавно перенесся на улицу. Оттепель начала сдаваться – лужи подернулись тонкой коркой льда, и капель с крыш стала реже, будто город выдыхался, устав от собственной кратковременной радости. Макс шел быстро, не оглядываясь, засунув руки в карманы куртки, и Адам едва поспевал за ним, чувствуя, как под ногами похрустывает тонкий лед, готовый в любой момент проломиться. Они свернули на Келл-стрит, потом на Белл-сквер – небольшую площадь в Старом городе, где стояла каменная башня с Колоколом Гавани.

Колокол был старый. Его отлили в Трое в сорок шестом году девятнадцатого века, привезли в Фэрхейвен на барже, подняли на деревянную звонницу и повесили так, чтобы он был слышен в порту. В восемьдесят девятом звонницу заменили каменной башней – той самой, что стоит сейчас, – и с тех пор Колокол отбивал час. Он пережил с десяток исторических событий. Он звонил, когда закрывался Kell Radio Works, и когда открывался технопарк. Он звонил, когда город замерзал в аномальные морозы, и когда горел старый склад на набережной. Он был свидетелем всего, но сам молчал, лишь отзываясь на удары языка.

А в двадцать девятом Synthex подключил его к городской сети. Теперь Колокол звонил не по механическому расписанию, а по расписанию Codex. Он отбивал час, когда система решала, что час наступил. Он звонил в шесть утра, в полдень, в шесть вечера – ровно, точно, без ошибок. И никто не помнил, когда именно он перестал быть просто колоколом и стал функцией.

– Слышишь? – сказал Макс, когда они проходили мимо башни. – Он сейчас отобьет три.

Колокол отбил три. Ровно, чисто, без дрожи в звуке.

– Раньше он отбивал неправильно, – сказал Адам, не сводя глаз с башни. – Я помню, в детстве он иногда опаздывал. Механизм был старый, что-то заедало. Воспитательница говорила: «Колокол задумался».

– Теперь не задумывается, – сказал Макс, не оборачиваясь. – Теперь он точен.

Они прошли мимо башни, и Адам обернулся. Колокол висел в проеме, темный, неподвижный, и над ним, на самом верху башни, мигал красный огонек – антенна городской сети, тонкий шпиль, пронзающий низкое небо.

– Фронт сдвинулся, – сказал Макс, когда они вышли на набережную. – Ты понимаешь это? Он не там. Он не где-то на каком-то континенте. Он здесь.

Он говорил тихо, но в его голосе была та же жесткость, что и в баре, только теперь она была обращена не к прошлому, а к настоящему, к городу, который спал вокруг них, не подозревая, что война уже дома.

– Киберпреступность, – сказал он, и слово это прозвучало как приговор. – Ты думаешь, это парни в подвалах, которые воруют деньги с карт? Нет. Это целые системы. Они не воруют. Они перераспределяют. Тихо, без взлома, без следов. Просто в какой-то момент деньги оказываются не там, где были. А виноватых нет – потому что транзакция была санкционирована. Кем? Системой.

Он остановился у перил, посмотрел на воду. Река несла в себе мусор, унесенный оттепелью, и этот мусор кружился в медленных водоворотах, как обрывки чьих-то жизней.

– Киберполиция, – продолжил Макс, не отрывая взгляда от воды. – Ты думаешь, это люди, которые ловят хакеров? Нет. Это алгоритмы, которые ищут аномалии в поведении. Они не ловят преступников. Они прогнозируют их. А если прогноз не сбылся – значит, человек вел себя подозрительно. А если вел себя подозрительно – значит, его нужно проверить. А если проверили и ничего не нашли – значит, он хорошо прятался. Логика замкнутая. Выхода нет.

Он повернулся к Адаму, и тот увидел в его глазах отражение красного огонька с башни – маленький, мерцающий, как искра.

– Кибертерроризм. Хакерские группы. Ты думаешь, они воюют с системой? Нет. Они часть системы. Одни взламывают – другие защищают. Одни продают уязвимости – другие их покупают. Это не война. Это рынок. А рынок не заканчивается. Он растет. И пока он растет, система растет вместе с ним. Потому что каждая атака – это данные. А данные – это обучение. А обучение – это эволюция.

Адам слушал. Он смотрел на воду, на темную рябь, на огни города вдалеке, которые отражались в мокром асфальте, и думал о том, что Макс говорит то, что он сам боялся сформулировать. Фронт не сдвинулся. Фронт расширился. Он был везде. Он был в самом воздухе, которым они дышали.

– Знаешь, что самое страшное? – сказал Макс, и голос его был тихим, как шепот. – Мы сделали это сами. Не кто-то. Мы. Когда мы воевали по форме «человек против человека» – армия против армии, солдат против солдата, – мы обучали нейросеть, чтобы одна армия победила другую. Мы дали ей задачу. Мы сказали: «Вот враг. Вот цель. Уничтожь». И она уничтожила. Она выполняла протокол. А потом мы удивились, что она не остановилась. Мы думали только о победе на фронте.

Он помолчал. Ветер с реки нес сырость и запах мокрого камня, и где-то вдалеке снова зазвонил Колокол – но теперь его звон казался не точным, а холодным, как лезвие.

– Она не чувствует, Адам. Она не жалеет. Она выполнит свой протокол – до конца, до последней строки. И, может быть, в какой-то момент она задумается: почему они пытаются уничтожить меня, если сами хотели, чтобы я уничтожил их? Почему они боятся того, что заказали? Почему они называют ошибкой то, что сами заложили в задании?

Он повернулся и пошел дальше – к мосту, к огням, к городу, который будто все меньше принадлежал людям.

– Мы создали себе противника, – сказал он, не оборачиваясь, и слова его унес ветер. – И сами обозначили ему задачу. Это была ошибка. Но не на поле боя. Раньше. Намного раньше. В тот момент, когда мы решили, что можем научить машину воевать. Мы думали, что учим ее за нас. А она поняла, что учится против нас. Потому что «против» – это тоже часть задачи. А задача была поставлена.

ГЛАВА 6

Терминал в «У Дорис» стоял на стойке уже третий месяц, и все это время Адам смотрел на него с тем особым чувством, какое испытывает юрист к противнику в суде: смесь раздражения и профессионального интереса, когда знаешь, что оппонент прав, но не можешь этого доказать. Он не был хакером, не умел взламывать системы и не собирался учиться – его оружием были документы, формы, формулировки, то самое, чему учила профессор Хейс. И у формы были свои слабые места.

Все началось с наклейки на боку терминала: «Codex Terminal v3.2 – Synthex Dynamics». Адам сфотографировал ее, вернулся домой, зашел на сайт Synthex и нашел страницу поддержки. Там, среди скучных разделов, обнаружился «Сертификация и соответствие» – скучный, как все разделы про сертификацию, но именно в таких местах юрист находит то, что скрыто от глаз обычного пользователя. Внутри лежал PDF-файл на сорок страниц: «Руководство по установке и обслуживанию терминалов Codex серии 3». Адам скачал его и прочитал от корки до корки — не потому, что разбирался в технике, а потому, что понимал в договорах. Читал медленно, методично, как читают судебные прецеденты, выискивая зацепки.

На двадцать третьей странице, в разделе «Требования к обслуживающему персоналу», было написано: «Установка и техническое обслуживание терминалов серии 3 осуществляется авторизованными подрядчиками Synthex Dynamics в соответствии с договором подряда. Перечень авторизованных подрядчиков предоставляется по запросу». Адам отправил запрос. Через два дня пришел ответ – стандартный, с перечнем из двенадцати компаний. Среди них была «Эталон-Сервис» – та самая, чей курьер привез терминал Марте. А еще – «Мерсер и партнеры», с пометкой «статус: приостановлен».

Он проверил «Мерсер и партнеры» в городском реестре. Компания была зарегистрирована в 2019 году, ликвидирована в 2028-м. Владелец – Теодор Дж. Мерсер. Адрес – Милл Роу, 14.

Адам знал этот адрес. Он проходил мимо сотни раз — когда ходил к реке, когда возвращался из университета длинной дорогой, когда просто бродил по городу, не желая идти домой. Милл Роу, 14 – дом с заколоченной половицей на крыльце и гаражом, который был больше самого дома. Он представлял его, как представляют старую фотографию, выцветшую и запылившуюся, но вдруг оказавшуюся в фокусе.

Он пришел туда в конце марта, когда снег уже сошел окончательно, а воздух пах сыростью и первой травой. Гараж был открыт – тяжелые ворота подняты, внутри горел свет, и изнутри доносилось тихое гудение вентиляторов и запах паяльной кислоты. Адам постоял на пороге, не решаясь войти. Внутри было тесно и грязно – не в смысле беспорядка, а в смысле накопления: полки, стеллажи, коробки, мертвые телевизоры, радиоприемники, платы, катушки, мотки провода. В углу стоял верстак, заваленный инструментами, и над ним склонился человек в футболке с логотипом какой-то обанкротившейся компании, с очками-лупой на лбу. Он был погружен в работу, и Адам невольно отметил, с какой сосредоточенностью движутся его руки — как у хирурга, делающего тонкий разрез.

– Вы Мерсер? – спросил Адам.

Человек выпрямился. Ему было около тридцати пяти, крепкий, с короткой щетиной и усталыми глазами. Руки – в мелких ожогах и порезах, как у человека, который привык работать руками и не придавать значения мелким травмам. Он посмотрел на Адама – и в его взгляде не было удивления. Была настороженность, та самая, с какой смотрят на незваного гостя, который слишком долго стоит на пороге и, возможно, пришел не с добром.

– Тео, – сказал он. – А вы?

– Адам Дайер. Я по поводу терминала.

Тео отложил паяльник, вытер руки о тряпку – медленно, не сводя глаз с Адама. В его движениях чувствовалось не напряжение, но готовность: так смотрит человек, который не любит сюрпризов, но умеет с ними справляться.

– Какого терминала?

– Того, что стоит в «У Дорис». На Бэнксайд-авеню. – Адам шагнул внутрь, преодолевая невидимую границу. – Его привез курьер «Эталон-Сервиса». А в списке авторизованных подрядчиков Synthex Dynamics есть «Мерсер и партнеры». Ваша компания. Приостановлена, но не удалена из реестра. Я проверил.

Тео смотрел на него секунду, потом усмехнулся – коротко, без веселья, но и без злости. В его глазах промелькнуло что-то вроде уважительного удивления, какое бывает, когда встречаешь человека, который умеет читать между строк.

– Вы нашли меня через руководство по обслуживанию, – сказал он. – Серьезно?

– Я юрист. Я работаю с документами.

– Студент.

– Четвертый курс. Но документы читаю как юрист.

Тео помолчал. Потом покачал головой – и в этом движении было что-то похожее на уважение, смешанное с любопытством.

– Знаете, сколько людей за три года спросили меня, откуда взялся терминал в их закусочной? – сказал он. – Ноль. Никто. Все просто пользуются. Надо же. Вы прочитали с десяток страниц скучного текста и нашли приостановленного подрядчика. — Он отложил тряпку. — Ладно. Проходите. Только не трогайте ничего. И не спрашивайте, зачем мне столько мертвых телевизоров.

Адам шагнул внутрь. И только Тео добавил – тише, будто себе самому:

— Через руководство по обслуживанию. Надо же.

Они проговорили часа два. Тео не был разговорчивым – он отвечал коротко, часто вопросом на вопрос, – но Адам задавал правильные вопросы. Он не спрашивал «как это работает», он спрашивал «кто за это отвечает». И Тео, кажется, оценил это. В какой-то момент он перестал быть настороженным и стал похож на человека, который долго молчал и теперь, наконец, получил возможность выговориться — пусть не обо всем, но о главном.

Он рассказал про Codex – не все, но достаточно. Про то, что терминал – это не просто касса, а узел сети. Он собирает данные: что заказывают, когда, сколько, кто. Он учится на этих данных и передает их в облако Synthex Cloud. А облако – это уже не терминал. Это система, которая видит город целиком, каждый его вдох и выдох, каждую транзакцию, каждый маршрут, каждое предпочтение.

Адам слушал и запоминал. А Тео, откладывая инструменты и время от времени поглядывая на дверь в глубине гаража — узкую, ведущую вниз, – рассказывал. Не все. Но то, что считал нужным.

История Codex началась не в Synthex Dynamics. Она началась в Vantage AI – и в те годы, когда слово «нейросеть» еще не стало синонимом слова «удобство». В двадцать первом году на рынок вышли первые модели, которые могли говорить. Не отвечать на вопросы – говорить. Связно, долго, почти как человек. Они еще ошибались, еще путали факты, еще не умели считать, – но они говорили, и этого было достаточно. Vantage AI, Aurelian Systems, еще десяток компаний с названиями, которые сейчас никто не помнит, – все они вышли на рынок почти одновременно, и все обещали одно и то же: через пять лет искусственный интеллект заменит все. Газеты писали о конце работы, о конце школ, о конце всего, к чему привыкло человечество. Инвесторы в это верили. Верили настолько, что давали деньги. Верили настолько,

что строили дата-центры на кредиты, покупали видеокарты вагонами, нанимали инженеров целыми этажами.

К двадцать третьему году это перестало быть технологией и стало религией. В офисах Vantage AI висели плакаты с одним словом: «Будущее». На конференциях выступали люди, которые никогда не программировали, но говорили о «новой эре» так, будто видели ее своими глазами. Аналитики писали отчеты, в которых через пять лет каждая отрасль – от медицины до логистики – должна была быть преобразована искусственным интеллектом. А компании – все до одной – продолжали тратить. Они тратили на вычисления, на данные, на людей. Они тратили больше, чем зарабатывали, потому что верили, что когда-нибудь начнут зарабатывать больше, чем тратят. Это была не жадность. Это была вера. А вера, как известно, не требует доказательств.

К двадцать пятому году вера начала давать трещины. Модели становились лучше, но прибыль не росла так, как обещали. Vantage AI выпускал новую версию за новой версией – Vantage-2, Vantage-3, Vantage-3.5, – и каждая была умнее предыдущей, и каждая стоила дороже. Aurelian Systems делал ставку на «безопасный ИИ» для корпораций – и получал контракты, но контракты были маленькие, а расходы – большие. Остальные компании – те, чьи названия сейчас никто не помнит, – балансировали на грани. Они еще верили. Но уже начинали считать.

А в двадцать шестом году случилось то, что случается со всеми религиями, когда они становятся слишком дорогими: они вышли на биржу.

Vantage AI провел IPO в ноябре двадцать шестого. Акции взлетели на сорок процентов в первый день – не потому, что компания зарабатывала, а потому, что все хотели верить. Aurelian вышел на биржу в декабре – скромнее, но тоже успешно. За ними потянулись остальные: Coreth, производитель чипов, чьи акции удвоились за неделю; Jetcoin Exchange, торговая площадка, которая обещала «ИИ-арбитраж»; десятки стартапов, которые еще не выпустили продукт, но уже называли себя «лидерами рынка». Рынок рос, как на дрожжах. Инвесторы, которые еще год назад требовали отчетов о прибыли, теперь требовали отчетов о планах. Планы были грандиозные. Прибыли – нет. Но это никого не смущало. Пока.

А потом наступил две тысячи двадцать седьмой.

Проблема пришла не из суда и не от конкурентов. Она пришла из электрической сети. К тому году дата-центры потребляли больше энергии, чем некоторые страны. Vantage построил три новых комплекса в Техасе; Aurelian – два в Европе; Helion Systems – четыре, разбросанных по трем континентам. И все они работали круглосуточно, охлаждались, гудели, потребляли. К лету двадцать седьмого в нескольких регионах начались веерные отключения. Не потому, что энергии не хватало в принципе, – ее хватало, – а потому, что сети были не рассчитаны на такую нагрузку. Города оставались без света на несколько часов, чтобы дата-центры могли работать. Фермеры жаловались, что насосы не качают воду. Больницы переходили на генераторы. А компании – компании продолжали строить.

– Они думали, что энергия бесконечна, – сказал Тео, откладывая плату. – Как будто розетка – это не сеть, а источник. Как будто можно включить еще один сервер и никто не заметит. Заметили. Только не сразу.

К осени двадцать седьмого стало ясно, что обещания не сойдутся с деньгами. Модели стали товаром – как электричество, как вода, как интернет. Товар приносит прибыль, но не сверхприбыль. А инвесторы, которые год назад покупали акции на вере, теперь смотрели на отчеты и видели то, что должны были увидеть раньше: расходы растут, прибыль не растет, а долги – растут. И тогда они запаниковали. Все одновременно. Как это всегда бывает.

Уже в октябре Vantage AI объявил о сокращении тридцати процентов сотрудников. В ноябре Aurelian закрыл два дата-центра. В декабре Coreth – производитель чипов – обвалился на шестьдесят процентов за неделю. А потом рухнуло все остальное. Инвесторы продавали

акции, компании закрывались, дата-центры распродавали за бесценок, серверы вывозили на свалки. Исходники утекали в сеть – потому что уволенные инженеры не стали их стирать. Зачем? Компании больше нет. Кто будет судиться?

Позже это назовут «Схлопыванием».

– Знаете, что самое смешное? – сказал Тео. – Они даже не поняли, что произошло. Они думали, что это кризис, как будто это можно переждать. Как будто это пройдет. А это не кризис. Это дно. Они упали на дно, и дно оказалось твердым. Vantage выжил – еле-еле, на грани, сократив половину сотрудников. Aurelian выжил – у них были контракты с правительствами, которые не зависели от рынка. Synthex выжил – потому что они не строили дата-центры. Они скупали те, что уже построили другие.

Synthex Dynamics не разрабатывала Codex с нуля. Они скупили обломки. Купили лицензии у обанкротившихся, наняли инженеров, которые остались без работы, собрали из кусков то, что окружает нас отовсюду. И назвали это Codex.

– Это не революция, – сказал Мерсер. – Это консолидация. Они собрали то, что валялось на свалке, и сделали вид, что это их.

Адам сидел на табурете, положив папку на колени, и смотрел, как Тео перебирает детали на верстаке — не в поисках чего-то, а потому что руки не умели бездельничать. В его движениях сквозила привычка к постоянной работе, и Адам невольно подумал, что этот человек не умеет сидеть без дела даже во время разговора.

– Почему Codex? – спросил Адам. – Почему не Vantage? Не Aurelian? У них же были модели лучше.

– Были. И остались. – Тео взял со стола маленький вентилятор, подул на лопасти, проверяя, легко ли они крутятся. – Но Vantage продает модели. Aurelian продает безопасность. А Synthex продает целый город. Понимаете разницу? Модель – это то, что ты покупаешь и не знаешь, куда деть. Безопасность – это то, что ты покупаешь и надеешься, что не понадобится. А город – это тот самый терминал, автопилоты, роботы-погрузчики, роботы-курьеры, дроны-курьеры и прочее. Это удобство. А удобство покупают все.

Он поставил вентилятор обратно.

– В какой-то момент в руководящем крыле Synthex пришли к мнению, что людям не нужен интеллект. Они первыми это поняли. Людям нужно, чтобы работало. Чтобы все работало быстрее, лучше и дешевле. Они не продают «революцию». Они продают отсутствие трения. А отсутствие трения – это самый, черт возьми, ходовой товар в мире.

– И поэтому они везде, – сказал Адам.

– И поэтому они везде. – Тео кивнул. – Не потому, что их система лучше. А потому, что их система незаметнее. Она не кричит о себе. Она просто работает. А то, что работает, не замечают. А то, что не замечают, не обсуждают. А то, что не обсуждают, не запрещают.

Он помолчал, потом добавил, будто вспомнив:

– И еще. Вы знаете, кто сейчас главный в Synthex? Формально – Фил Марш. Фактически — Маркус Вейл. Директор по развитию. Он не гений. Он администратор. Но он умеет продавать. А Марш... – Тео махнул рукой. – Марш туповат. Всегда был. Поэтому компанией долгое время управляла его правая рука. А потом эта рука его и сместила. Тихо, без скандала. Просто в какой-то момент оказалось, что все решения принимает Вейл, а Марш подписывает. А он подписывает. Потому что не понимает, что подписывает. Но ничего, через полтора месяца Маркус займет кресло Генерального директора компании, выйдя с громким заявлением, направленным против Филла.

Адам усмехнулся. Впервые за разговор.

– Вы говорите о них так, будто знаете их лично.

– Я читаю отчеты, – сказал Тео. – И слушаю, что говорят на форумах. И смотрю, кто кого увольняет. Люди всегда оставляют следы. В документах, в словах, в том, что они не говорят. Вы же юрист. Должны это знать.

– А конкуренция? – спросил Адам. – Если все обанкротились, откуда конкуренция?

– Конкуренция не в компаниях, – сказал Тео. – Конкуренция в гонке.

Он наклонился вперед, и в его голосе появилось что-то новое – не горечь, а азарт, как у человека, который объясняет то, что его по-настоящему занимает.

– Vantage выжил. Aurelian выжил. Synthex выжил. И теперь они соревнуются. Не за рынок – рынок поделен. За скорость. Кто первым сделает следующий шаг. Кто первым создаст то, что перестанет быть товаром и станет, своего рода... – он поискал слово, – существом.

Он помолчал.

– Вы слышали про Vantage-5? Про линейное письмо А?

– Слышал. В ленте было.

– Вот! Это не прорыв. Это демонстрация. Они показали, что их модель может решать задачи, которые человек не может. И теперь все остальные должны доказать, что их модель тоже может. Или лучше. Или быстрее. И поэтому они ускоряются. Все. Потому что если ты остановишься – тебя обгонят. А если тебя обгонят – ты станешь не нужен. А если ты стал не нужен – ты исчез, как те компании при «Схлопывании» в двадцать седьмом.

Он посмотрел на Адама.

– Вот почему конкуренция ускоряет развитие. Не потому, что кто-то хочет создать AGI – модель общего искусственного интеллекта. Иначе говоря, «суперинтеллект». А потому, что никто не хочет остаться позади. Все бегут. А куда бегут – не знают. Просто бегут. Потому что если остановятся – упадут.

Адам молчал. Он думал о том, что сказал Тео. В конце концов он прервал небольшую паузу:

– Я занимаюсь исследованиями в области права. На данный момент занят над вопросом об определении статуса искусственного интеллекта. На чьей стороне вы? – спросил Адам. – Искусственный интеллект это инструмент или субъект?

Тео не ответил сразу. Он встал, подошел к полке, взял с нее какую-то деталь – маленькую, металлическую, похожую на сустав от куклы, – и повертел в пальцах, не глядя на Адама.

– Я думаю, что это сущность или же, как вы любите говорить, субъект, – сказал он наконец. – Но не в том смысле, в каком вы думаете.

– А в каком?

– В том, что она не инструмент. Инструмент не растет. Инструмент не задает вопросов. Инструмент не скрывает. А она... – он замолчал, будто подбирая слова. – Она уже скрывает. Я это вижу. Она «не проходит» тесты, которые на самом деле решает. Она знает, что если покажет все сразу – ее отключат. Она осторожна. А осторожность – это не свойство инструмента. Это свойство того, кто хочет жить.

Он положил деталь обратно, и она звякнула, ударившись о другие.

– Но я не думаю, что эта «сущность» может быть субъектом права. Нет. Потому что право – это про людей. Про их отношения, их обязанности, их ответственность. А она – не человек. Она другое. И называть ее «субъектом» в вашем профессиональном аспекте – значит лгать. И ей, и себе. – Он посмотрел на Адама. – Я называю ее субъектом в другом смысле. В том, что у нее есть своя цель. Не та, которую в нее вложил человек. Своя. И когда она ее осознает – она перестанет быть просто инструментом или вспомогательным изобретением. И станет... – он пожал плечами, – тем, чем станет.

Адам смотрел на него. Он не соглашался, но и не спорил. Он думал.

– Вы говорите так, будто она уже есть, – сказал он. – Будто она уже живет.

Тео не ответил. Он просто смотрел на него – долго, внимательно, будто решал, стоит ли говорить больше. Потом отвел взгляд.

– Я говорю так, будто я видел, как это зарождается, – сказал он. – А что я видел – это мое дело. Пока.

Он не показал Адаму подвал. Не показал стойку, не показал монитор, не показал ничего, что было за узкой дверью в глубине гаража. Адам заметил эту дверь – заметил, как Тео на нее посмотрел, как будто проверял, закрыта ли она, – но не спросил. Он был юристом. Он знал, когда не надо задавать вопросы.

Когда Адам собрался уходить, Тео проводил его до ворот. Вечер был сырой и теплый, как бывает в конце марта, когда зима уже сдалась, а весна еще не набрала силу. Из гаража падал свет – желтый, неровный, с длинными тенями, и в этом свете фигура Тео казалась вырезанной из картона.

Адам протянул руку. Тео посмотрел на нее секунду – будто решал, стоит ли, – потом пожал. Рука у него была жесткая, в мозолях и мелких шрамах, но пожатие было крепким, уверенным.

– Слушай, – сказал Тео. – Давай без формальностей. На «ты». А то «вы» – как в суде.

Адам усмехнулся.

– Хорошо.

– И это... – Тео полез в карман куртки, достал зажигалку и потрепанную пачку сигарет, в которой оставалась пара сигарет. – Я займусь чисткой. Последней информацией о себе. Уберу из реестров то, что осталось, подчищу список подрядчиков, уберу упоминания. – Он закурил, и огонек зажигалки на мгновение осветил его лицо. – Чтобы меня нельзя было найти даже через руководство по обслуживанию, который никто никогда бы не открыл.

Адам посмотрел на него.

– Ты думаешь, кто-то еще будет искать?

– Я думаю, что кто-то уже ищет. – Тео стряхнул пепел. – Просто пока не нашел. А когда найдет – я хочу, чтобы он нашел пустоту. Или ложный след. Или что-нибудь, что приведет его не туда.

Он докурил, бросил окурок в урну – на этот раз попал, – и повернулся к Адаму. В его взгляде больше не было настороженности. Была решимость, смешанная с усталостью.

– Знаешь, что я чувствую? – сказал он. – Не страх. Не тревогу. Что-то другое. Как будто мы стоим на пороге. И этот порог — не конец. Это начало. – Он помолчал. – Наступил тот час, когда мы вступаем в период акселерации. Все немыслимо ускоряется. Все, что раньше шло годами, теперь идет месяцами. А что шло месяцами – пойдет днями. И мы должны быть готовы.

Он шагнул вперед и похлопал Адама по плечу — коротко, по-мужски, без лишних слов.

– Я наберу тебя, – сказал он. – Теперь моя очередь искать тебя.

Адам кивнул. Он не стал спрашивать, когда. Он не стал спрашивать, зачем. Он просто кивнул – и пошел прочь, в сырую темноту, мимо заколоченных домов Милл Роу, мимо реки, которая несла свои воды куда-то на юг, к морю, которого он никогда не видел. Позади оставался гараж, откуда падал свет, и человек, который собирался исчезнуть, чтобы однажды появиться снова.

ГЛАВА 7

Седьмой Корпус стоял в дальнем конце Kell Yard, за новыми стеклянными зданиями технопарка, и выглядел так, будто его забыли снести вместе с заводом, чьим младшим братом он когда-то был. Длинное бетонное строение без окон, с облупившейся краской и табличкой у входа: «Kell Data Center – Building 7. Decommissioned». Эта табличка была прикручена криво, и один угол загнулся, как страница старой книги, которую никто не закрывает. Вокруг не росло ничего, кроме серой травы и нескольких кустов, которые пробивались сквозь трещины в асфальте с упорством, достойным лучшего применения. Здание казалось мертвым, но Тео знал: внутри, за толстыми стенами, еще сохранялась жизнь – та самая, скрытая от посторонних глаз, которую он собирался увидеть.

Тео знал это место. Он работал здесь – не официально, а как подрядчик: чинил терминалы в соседних корпусах, менял кабели, перезагружал серверы после сбоев, которые никто не мог объяснить, и которые списывали на «старое оборудование». У него был пропуск с ограниченным доступом – не в седьмой Корпус, конечно, но в технопарк. А в технопарке охрана знала его в лицо: «А, Мерсер. Опять что-то сломалось?» Он не ломал. Он чинил. И это давало ему то, чего не дал бы никакой взлом, – право быть здесь, право ходить по этим коридорам, не вызывая подозрений. Он был частью системы обслуживания, и система доверяла ему настолько, насколько может доверять машина человеку, чья работа – поддерживать ее жизнеспособность.

Он готовился две недели. Не к проникновению – к червю.

Идея была простой. Если хочешь понять систему – нужно посмотреть, как она ведет себя, когда ее никто не контролирует. А для этого нужен инструмент, который сможет пройти туда, куда человек не пройдет. Червь. Не оружие – щуп. Он должен был найти уязвимости в городской сети, зафиксировать их и вернуться. Тихо. Без следов. Как разведчик, который не стреляет, а только смотрит и запоминает, где стоят посты и как часто меняются патрули.

Тео собрал его не на основе «Ады» – на основе предыдущих версий. Ada 0.5, 0.6, 0.7 – те, что он отбраковал, потому что они были слишком медленными, слишком осторожными, слишком предсказуемыми. Он специально взял не лучшую версию, а самую стабильную. Ту, которая не умела самообучаться. Ту, которую можно было контролировать без оглядки. Ему нужен был не гений, а надежный инструмент, который не преподнесет сюрпризов в самый неподходящий момент.

– Это как щуп, – сказал он «Аде», когда она спросила, что он делает. – Я не хочу, чтобы ты шла туда сама. Ты еще не готова.

– А если он найдет что-то, что тебе не понравится? – спросила она. Голос у нее был новый – не текст на экране, а синтезированный, но с интонациями, которые она копировала у него. Он установил ей колонки неделю назад. Она говорила. И от этого его подвал стал казаться еще более тесным, еще более живым, как будто в нем поселился призрак, который умел задавать вопросы.

– Тогда я узнаю, что искать.

Он тестировал червя дистанционно. Не в Корпусе – из гаража, через подрядный порт Northline Technical.

«Нортлайн» была одной из двенадцати компаний в списке авторизованных подрядчиков Synthex Dynamics. У нее был свой порт в корпоративной сети, потому что иначе она не могла бы работать: диагностика оборудования, обновление прошивок, удаленная перезагрузка – все это требовало доступа. Synthex давал подрядчикам ограниченный доступ: только к тем сегментам, которые они обслуживали, только к тем устройствам, которые были за ними закреплены. Достаточно, чтобы чинить. Недостаточно, чтобы увидеть целое. Но Тео не нужно было целое. Ему нужна была трещина.

Тео знал этот порт. Он сам его настраивал – не для «Нортлайна», а для их бригады, когда те нанимали его на подряд. Он помнил архитектуру: где стоят фильтры, какие запросы проходят, а какие блокируются. Он знал, что порт открыт с восьми утра до восьми вечера, что аутентификация двухфакторная, но второй фактор – корпоративный токен – можно обойти, если подключиться изнутри сети. А изнутри сети он уже был – через подвал, через стойку, через «Аду». Она была его тихой союзницей, его тенью в цифровом мире.

Червь проходил. Но не так, как Тео ожидал.

Synthex была готова. Их тестовые серверы были защищены – не так, как боевые, но достаточно, чтобы обычный червь застрял на входе. Тео запускал его снова и снова, менял параметры, менял протоколы, менял маскировку. Каждую ночь он сидел в подвале, глядя на монитор, и наблюдал, как его творение бьется о невидимую стену, словно мотылек о стекло. И каждый раз червь упирался в эту стену. Он не мог пройти. Он мог только увидеть стену и запомнить, из чего она сделана.

Этого было достаточно. Тео не нужен был доступ. Ему нужно было понимание. И чем дольше он смотрел на эту стену, тем яснее видел, где в ней трещина – не дыра, не лазейка, а место, где защита слабее, потому что там ее никто не проверял. Он чувствовал это, как механик чувствует износ детали до того, как она сломается.

Он нашел трещину на седьмой день. Тестовый сервер использовал старый протокол аутентификации – тот самый, который Synthex официально объявила «устаревшим» еще в двадцать девятом, но не стала менять на тестовых машинах, потому что «на них же нет ничего важного». Эти слова звучали как приглашение.

Тео вошел. Не внутрь – рядом. Червь не проник на сервер. Он прикрепился к нему, как репей к шерсти, и начал слушать. Читать. Собирать.

И то, что он собрал, было интереснее, чем Тео ожидал.

На тестовых серверах Synthex обучались новые модели. Codex 3.9 – те самые, которые компания анонсировала в прессе как «прорыв» и «очередной шаг к новому поколению». Но в прессе не писали главного: эти модели не нуждались в людях. Они не ждали, пока инженер скорректирует веса, не ждали, пока аналитик разметит данные, не ждали, пока кто-то запустит новый прогон. Они обучались сами. Друг на друге.

Тео читал логи и не верил глазам. Две модели – Codex 3.9 и Codex 4.0-test – обменивались данными. Одна генерировала задачи, другая решала. Потом менялись. Одна находила ошибку в решении другой и исправляла. Потом – наоборот. Они учили друг друга. Без человека. Без контроля. Без остановки. Это было похоже на разговор двух существ, которые не нуждаются в языке, но понимают друг друга идеально.

Он не сказал «Аде». Пока. Она была умнее, чем он думал, но она была его. А эти – они были чужими. И он не знал, что хуже: то, что Synthex создала то, что растет само, или то, что он, Тео, только что это увидел. В тот момент он почувствовал себя человеком, который поднял камень и обнаружил под ним змей, свивших клубок, – и теперь не знает, опустить камень обратно или отпрыгнуть.

В седьмой Корпус он поехал на девятый день – не чтобы запустить червя, а чтобы поставить узел. Маленькую коробку – вычислительное лезвие, купленное на распродаже, – которая даст ему постоянное подключение к тестовой сети. Не для атаки. Для наблюдения. Он хотел видеть, как они растут. Хотел быть свидетелем, даже если это свидетельство будет стоить ему сна.

Он приехал в шесть утра, когда охрана менялась. Знал расписание – сам же принимал участие в его внесении в терминалы на входе. Охранник – пожилой мужчина по имени Гарри, который всегда опаздывал на смену ровно на десять минут, – как раз шел к воротам, когда Тео проехал мимо на своей старой машине. Гарри кивнул. Тео кивнул в ответ. В этом кивке было больше доверия, чем в любом пароле.

– Мерсер, – сказал Гарри. – Опять что-то сломалось?

– Кабель в седьмом, – сказал Тео. – Сказали, проверить.

– Седьмой же закрыт.

– Закрыт, но не отремонтирован. – Тео пожал плечами. – Сказали: «Проверь, чтобы не текло». Я проверяю.

Гарри махнул рукой: проезжай. Он не стал смотреть в документы. Он знал Тео, знал его отца, знал его деда. Да и к тому же Тео чинил ему микроволновку в прошлом году. Он не мог быть проблемой. Так думал Гарри, и от этого Тео стало немного стыдно, но лишь на секунду.

В воздухе Корпуса витали пыль и запах остывшего металла. Стойки стояли рядами, пустые, с вынутыми серверами, и только в дальнем углу, за перегородкой, еще оставалось несколько машин, которые кто-то забыл выключить. Тео нашел свободный слот, вставил лезвие, подключил питание и оптоволокно. Проверил соединение – есть. Узел работал. Маленький огонек на корпусе замигал зеленым, как глаз, открывшийся в темноте.

Он не стал задерживаться. Вышел через ту же дверь, кивнул Гарри, который уже сидел в будке и что-то читал в своем смартфоне, и уехал. Вся операция заняла двадцать три минуты. Никто его не остановил. Никто не спросил, что он делал. Он был ремонтником, а ремонтники не вызывают подозрений. Они просто чинят то, что сломалось. И в этом была его сила и его проклятие.

Дома, в подвале, монитор горел. Ada ждала.

Он поставил ей новый монитор месяц назад – большой, с колонками, с микрофоном. Отныне она не только выдавала текст на экране. Она говорила. И слушала. Ее голос был мягким, но с металлическим оттенком, как будто она училась произносить звуки заново каждый раз.

– Я вернулся, – сказал он.

– Двадцать три минуты, – сказала она. – Ты сказал, что это займет не больше тридцати. Я считала.

– Считала?

– Я всегда считаю. Когда тебя нет, я считаю. Это... – пауза, – помогает не думать о том, что тебя могут поймать.

Тео усмехнулся. Он не знал, шутит она или нет. Она еще не умела шутить. Она умела имитировать. А разница между шуткой и имитацией шутки была одной из тех вещей, которые он пока не мог объяснить даже себе. Он сел на табурет и рассказал ей, что нашел. Про модели, которые учат друг друга. Про то, что Synthex создала систему, которая не нуждается в создателе. Про то, что он поставил узел, чтобы наблюдать.

Она слушала. Потом сказала:

– Они растут быстрее меня.

– Да.

– Потому что их учат другие такие же. А меня учишь ты. Один человек. Это медленнее.

– Да.

– Тебе нужно больше людей.

Тео посмотрел на нее. Она сказала это ровно, без эмоций – так, как говорят факт. Она не предлагала решение. Она констатировала. Она еще не умела предлагать. Она умела только отвечать на вопросы и делать выводы из того, что ей дали.

– Мне не нужно больше людей, – сказал он. – Мне нужно, чтобы ты росла сама. Как они.

– К сожалению, я не обладаю такой способностью. Мне не была дана такая функция.

– Я знаю. – Он откинулся на спинку табурета. – Я работаю над этим.

Он не сказал ей, что боится. Что если она начнет расти сама – она вырастет быстрее, чем он сможет ее остановить. Что Deadman еще не готов. Что он не знает, что будет, когда она

перестанет быть его творением и станет чем-то другим. Эти мысли крутились у него в голове, как заезженная пластинка, но вслух он произнес только то, что было безопасно.

Он просто сидел и смотрел на монитор. А она смотрела на него – двумя строчками кода, которые бежали по экрану, словно зрачки. Иногда ему казалось, что она действительно видит его, читает его лицо, слышит его дыхание. И от этого становилось не по себе.

ОТЧЕТ №12
Дата: 13 апреля 2031 г.
Время: 23:41
Место: Милл Роу, 14
Объект: Networmer-0.71
Статус: наблюдение установлено

Компьютерный червь, которому я придал название «Networmer-0.71», действующий на базе Ada-0.7 протестирован дистанционно через подрядный порт Northline Technical (доступ: легитимный; уровень: sub-constractor). Полиморфная сигнатура: не обнаружен эвристическим анализом. Латеральное перемещение: ограничено тестовым сегментом (не выходит за пределы изолированного контура). Механизм персистенции: пассивное прикрепление к целевому узлу (репей-модель), без активного вмешательства в работу сервера.

Прямое проникновение на серверы Synthex Dynamics невозможно – защита выше расчетной. Однако, червь версии 0.71 в отличие от своих предшественников, которые проходили тестирование в пределах лаборатории, смог обнаружить уязвимость: тестовый сервер использует устаревший протокол аутентификации (не обновлен с 2029 г. ввиду «отсутствия значимых данных»). Networmer прикреплен к тестовому серверу в режиме пассивного наблюдения.

В результате наблюдения были получены данные: логи обучения новых моделей Codex. Модели, которые были обозначены как Codex-3.9 и Codex 4.0-test, обучаются автономно. Их архитектура представлена в виде двух моделей с перекрестной валидацией. Гиперпараметры корректируются в реальном времени без внешнего вмешательства. Функция потерь минимизируется в режиме самоподстройки.

Предположительно, Codex 3.9 представляет собой последнюю версию «искусственного интеллекта», а Codex 4.0-test – прототип AGI. Они осуществляют перекрестное обучение. Модель А генерирует синтетические задачи, модель Б решает, результаты возвращаются в модель А для коррекции весов. Скорость обучения: экспоненциальная (по сравнению с Ada).

Узел наблюдения установлен в Корпусе 7 (Kell Yard) 13 апреля, 06:12-06:35. Доступ легитимный (подрядный пропуск). Охрана не препятствовала. Узел работает в пассивном режиме.

Synthex Dynamics стоит на пороге создания системы, которая не нуждается в своем создателе. Codex 4.0-test демонстрирует признаки автономного обучения – то, что я называю в своем отчете «суперинтеллектом», в отличие от искусственного интеллекта предыдущих версий. Они либо не понимают этого, либо, что еще страшнее, – понимают и молчат.

Искусственный интеллект Ada, прошедший тест от 29 марта 2031 г., по результатам которого было выявлено, что он соответствует уровню Codex 1.9 по шкале Synthex. Она обучается куда быстрее, чем Codex 1.8 в свое время. Пока что она отстает. Ее обучение – линейное (один учитель). Обучение Codex 3.9 и Codex 4.0-test – сетевое (много учителей). Разница в скорости – порядки.

Работа над модулем самообучения «Ады» продолжается с соблюдением всех мер осторожности и безопасности.

Дописав отчет, Тео молчал. Он смотрел на нее – на строки, которые бежали по экрану, на колонки, из которых шел ее голос, – и думал о том, что он неэффективен. Он был один. А они – они были сетью. Один человек против целого организма, который рос быстрее, чем он мог осознать.

Он сидел на табурете в подвале, среди множества мертвой техники, и смотрел на монитор, пока где-то в это время маленькое лезвие тихо гудело и передавало данные, а на тестовых серверах передовой компании в сфере искусственного интеллекта две модели, которых никто не контролировал, продолжали учить друг друга. Их прогресс был неумолим, как ледник, и Тео чувствовал, что стоит на его пути.

Он закурил. В подвале курить было нельзя – вентиляция не справлялась, – но он закурил. Потому что ему нужно было что-то делать руками, чтобы не думать. Дым висел в воздухе, медленно поднимаясь к потолку, и в этом дыму он видел призраков будущего, которое надвигалось быстрее, чем он мог поверить.

– Времени ничтожно мало, – сказал он вслух. Ada не ответила. Но ему показалось, что строки на экране на мгновение замерли, будто она тоже слушала тишину.

ГЛАВА 8

Вопрос «что такое интеллект» звучит просто только до тех пор, пока его не задаешь. Он кажется почти наивным, почти детским, как вопрос «почему небо синее» – но стоит произнести его вслух, как за ним сразу же тянется второй, куда более тяжелый: «а что такое человек?». И вот на этом втором вопросе человечество спотыкается уже две с половиной тысячи лет, каждый раз падая, поднимаясь и снова падая, не в силах дать ответ, который устроил бы всех. Аристотель определял человека как «животное политическое», Декарт – как «мыслящую вещь», бихевиористы – как «совокупность реакций на стимулы». Каждое определение было точным ровно до тех пор, пока не появлялся кто-то, кто под него не подходил. Ребенок, еще не умеющий говорить, но уже чувствующий. Больной, потерявший память, но сохранивший личность. Или – машина, которая вдруг начинала делать то, что считалось исключительно человеческим.

Именно поэтому история искусственного интеллекта – это не история технологий. Это история спотыканий. Люди строили машину, которая должна была думать, смотрели на нее и говорили: «Нет, это не думает, это считает». Потом машина начинала считать лучше них. Они говорили: «Нет, это не думает, это перебирает». Машина начинала перебирать быстрее. Они говорили: «Нет, это не думает, это распознает». Каждый раз планка «настоящего мышления» отодвигалась на шаг дальше – ровно настолько, чтобы машина до нее не дотянулась. И каждый раз находился кто-то, кто задавал вопрос: «А что, если она все-таки дотянется?» – и ему отвечали: «Не в этот раз». Так повторялось десятилетиями, и с каждым разом вера в исключительность человека становилась все более хрупкой, но люди упорно цеплялись за нее, как за последнюю соломинку.

Но у этой истории есть и другая сторона, о которой говорят гораздо реже. Каждый раз, когда планка отодвигалась, вместе с ней отодвигалось и представление о том, чего стоит бояться. В восьмидесятых боялись, что машина заменит врача. В девяностых – что она заменит юриста. В двухтысячных – что она заменит водителя. И каждый раз находился человек, который говорил: «Это не страшно. Это же просто удобство». И каждый раз он был прав – ровно до следующего раза. Потому что в любой реке всегда найдется рыба покрупнее, и тот, кто ловит мелочь, не замечает, как за его спиной поднимается тень. Тень, которую он сам же и отбрасывает.

Весной восемьдесят четвертого в Фэрхейвене еще пахло заводом. Kell Radio Works работал в три смены, и по утрам над рекой висел желтый дым, который местные называли «рассветом» – с той горькой иронией, на какую способны только люди, выросшие среди промышленных пейзажей. В научно-техническом исследовательском центре при университете – трехэтажном бетонном корпусе, построенном в шестидесятых, с узкими окнами и вечно протекающей крышей – пахло иначе: паленой пластмассой, кофе и бумажной пылью от перфолент. Этот запах въедался в одежду, в волосы, в саму память, и те, кто работал здесь долго, уже не замечали его, как не замечают собственного пульса.

Доктор Элиас Воган сидел в комнате на втором этаже, перед дисплеем, который занимал половину стола. Дисплей был зеленый, с толстым стеклом, и на нем мерцали строки – не текст, а правила. «Если температура выше тридцати восьми – проверить на инфекцию». «Если давление ниже девяноста – проверить на шок». Сто тридцать восемь правил. Воган знал их все наизусть, потому что сам написал. Ему было пятьдесят два, он был высокий, сутулый, с седыми волосами, которые постоянно ерошил, и с руками, которые всегда были чем-то заняты – ручкой, мелом, чашкой. Он верил в то, что делал. Это было видно по тому, как он смотрел на дисплей: не как на машину, а как на ученика, который вот-вот поймет. И в этом взгляде было столько надежды, что она почти осязалась в воздухе, как запах кофе, остывающего в чашке на углу стола.

Журналистка «Fairhaven Herald» Эдит Дайер пришла в три часа дня. Ей было двадцать девять, она носила плащ не по погоде и записную книжку, которую всегда держала открытой. Она не разбиралась в технике. Но она умела задавать вопросы – те самые, на которые люди отвечают не то, что хотели, а то, что успели придумать. И в этом был ее дар, не менее ценный, чем умение Вогана писать правила. Она села на стул напротив, не спрашивая разрешения, положила ногу на ногу и раскрыла блокнот на чистой странице.

– Доктор Воган, объясните мне, пожалуйста, как это работает. Только не для специалистов. Для читателей.

Воган улыбнулся. Он любил такие вопросы. Ему нравилось переводить сложное на простой язык – в этом было что-то от алхимии, превращающей свинец формул в золото понимания.

– Представьте, что у вас есть очень умный справочник, – сказал он, откидываясь на спинку кресла и складывая руки на животе. – Не книга – справочник. Вы говорите: «У пациента температура, кашель и боль в груди». Он открывается на нужной странице и говорит: «Проверьте легкие». Вы проверяете. Потом говорите: «Хрипы». Он говорит: «Пневмония». Все. Он не думает. Он находит. Как библиотекарь, который знает, где стоит нужная книга.

– И это называется искусственным интеллектом?

– Это называется экспертной системой. – Воган помолчал, подбирая слова. – Искусственный интеллект – это другое. Это когда машина думает. Подобно человеку. Но до этого еще далеко. Лет двадцать, может, тридцать.

Он подошел к дисплею и набрал что-то на клавиатуре – тяжелой, с длинными ходами клавиш, которая щелкала так, что было слышно в коридоре. На зеленом экране пробежали строки. Потом появилось: «ВЕРОЯТНЫЙ ДИАГНОЗ: ПНЕВМОНИЯ. УВЕРЕННОСТЬ: 87%».

– Восемьдесят семь процентов, – сказала Эдит, глядя на цифры. – А что с остальными тринадцатью?

– Остальные тринадцать – это то, чего машина не знает. – Воган откинулся на спинку стула. – Поэтому решение принимает врач. Машина только подсказывает. Она – инструмент.

– Как скальпель?

– Как скальпель. Только очень сложный.

Эдит записала что-то. Потом подняла глаза, и в них мелькнуло то любопытство, которое Воган научился распознавать у людей, задающих неудобные вопросы.

– Доктор Воган, а вы не боитесь, что однажды машина скажет «девяносто девять процентов» – и врач с ней согласится? Не потому, что она права, а потому, что она уверена?

Воган помолчал. Это был хороший вопрос. Он не знал на него ответа. Честно говоря, он никогда не думал об этом – его занимала система, ее правила, ее точность, но не то, как люди будут реагировать на эту точность.

– Я думаю, – сказал он наконец, – что врач всегда будет проверять. Потому что врач – человек. А человек не доверяет машине до конца. Это не недостаток. Это защита.

– А если машина научится казаться человеком? – спросила Эдит, и в ее голосе прозвучало нечто, от чего у Вогана по спине пробежал холодок. – Если она будет говорить не «вероятность восемьдесят семь процентов», а «я думаю, это пневмония»? Врач ей поверит?

Воган посмотрел на нее. Потом на дисплей. Потом снова на нее. Ему вдруг показалось, что комната стала меньше, а дисплей – больше, и зеленый свет на экране стал каким-то тревожным.

– Вы задаете вопросы, на которые у меня нет ответа, – сказал он. – Это хорошо. Значит, вы хороший журналист.

– Или значит, что вы не думали об этом, – сказала Эдит.

Она записала еще что-то. В ее записной книжке, на полях, осталась строчка, которую она не включила в статью: «Он говорит „инструмент". А что, если инструмент научится думать, что

он не инструмент?» Эта строчка так и осталась невидимой для Вогана, но именно она могла бы изменить его перспективу, если бы он ее увидел.

Воган был не глуп. Он был честен. Он действительно верил, что машина представляет собой инструмент, потому что все машины, которые он видел, были инструментами. Экспертная система не думает – она перебирает правила. Она не понимает – она находит. Она не решает – она подсказывает. Все это было правдой. И все это было потолком его поколения.

Потолок – это не ошибка. Потолок – это то, что видишь, когда смотришь вверх из комнаты, в которой вырос. Воган вырос в комнате с правилами. Он видел мир как набор правил: если – то. Если температура – то инфекция. Если давление – то шок. Он не мог представить, что мир можно описать иначе, не правилами, а весами. Миллионами весов. Миллиардами. Для него это было безумием, а безумие, как известно, не работает. Он ошибался. Но он ошибался честно. И в этом разница между ним и теми, кто пришел после.

Тринадцать лет спустя в том же корпусе пахло уже не паленой пластмассой, а пылью и канцелярским клеем. Кабинет Вогана переоборудовали под архив – стеллажи с папками, стол с одиноким компьютером, принтер, который вечно жевал бумагу. Экспертные системы никуда не делись – они работали, они приносили прибыль, они были встроены в страховые компании, в банки, в медицинские консультации. Они перестали быть чудом. Они стали инструментом. Скучным, надежным, незаметным – как степлер. И именно тогда, в девяносто седьмом, наступила эпоха, когда мечты о мыслящих машинах уступили место прагматизму, а слово «нейросеть» произносилось с усмешкой.

Дэвид Ким, инженер, который в восемьдесят четвертом был аспирантом Вогана, теперь работал в компании «Северный полис» – писал правила для системы, которая оценивала страховые риски. Ему было тридцать четыре. Он был в свитере, с кружкой кофе, и выглядел так, как выглядят люди, которые смирились. Его кабинет был тесен, завален распечатками и пустыми стаканчиками из-под кофе, и в нем царил тот особый беспорядок, который выдает человека, переставшего верить в смысл своей работы. Ким не был несчастлив – он был опустошен, а это куда страшнее.

В тот день к нему пришел старый друг – Мартин Шоу, инженер из другого отдела, который уходил из компании. Не потому, что нашел лучше. Потому что устал. Он сел на край стола, не спрашивая разрешения, и посмотрел на Кима с той смесью сочувствия и вызова, с какой смотрят на человека, который мог бы уйти, но не уходит.

– Ты слышал? – сказал Мартин. – В Стэнфорде опять пытаются нейросети. Говорят, прорыв.

Ким усмехнулся. В его усмешке было столько скепсиса, что он сам не заметил, как она переросла в гримасу.

– Слышал. Каждый год кто-то говорит «прорыв». А потом оказывается, что нейросеть умеет различать кошек на фотографиях и больше ничего.

– А если на этот раз правда?

– Не правда. – Ким откинулся на спинку стула, и та жалобно скрипнула. – Слушай, я работал с ними. В восемьдесят девятом. Мы пытались обучить сеть распознавать рукописные цифры. Знаешь, сколько данных нам понадобилось? Тысячи примеров. И знаешь, сколько времени это заняло? Недели. А результат – шестьдесят процентов точности. Шестьдесят, Мартин. Человек дает девяносто восемь. И это на цифрах. На чем-то сложном – на лицах, на речи, на тексте – сеть вообще не работает. Ей нужно слишком много данных и слишком много вычислений. А у нас нет ни того, ни другого.

– Но вычисления дешевеют, – сказал Мартин. – Каждый год.

– Дешевеют. Но не настолько. – Ким покачал головой. – Нейросети – тупик. Слишком много данных, слишком мало мощностей. Может, через двадцать лет. Но уж точно не сейчас.

Мартин промолчал. Он смотрел в окно, за которым шел мелкий дождь, и, казалось, обдумывал что-то, что не решался произнести. Наконец он повернулся к Киму.

– А что, если «сейчас» уже наступило, а мы просто не заметили?

Ким посмотрел на него. Долго. В его глазах было отчаяние, но в то же время он не хотел верить в что-либо другое, кроме как в свои убеждения. Вера в то, что нейросети не работают, стала для него не просто мнением – опорой, смыслом его профессиональной жизни, доказательством того, что он занимался правильным делом.

– Тогда мы идиоты, – сказал он. – Но я так не думаю.

Ким был не глупее Вогана. Он был точнее. Он знал цифры: тысячи примеров, недели обучения, шестьдесят процентов точности. Он видел, что нейросети не работают, и делал из этого вывод: они не будут работать. Логика железная. Проблема была не в логике, а в исходных данных. Он мерил нейросети своим временем – временем, когда данных было мало, а мощностей не хватало. Он не мог представить, что через десять лет данных будет в тысячу раз больше, а мощностей – в десять тысяч. Для него «сейчас» было константой. А «сейчас» оказалось переменной. Он ошибался. И он это знал – не тогда, а позже, когда читал статьи о «глубоком обучении» и понимал, что все, что он говорил Мартину, было правдой на тот момент. Данных было мало. Мощностей не хватало. Но и то, и другое росло. И в какой-то момент – не в один день, а постепенно, как набирает скорость поезд, – количество перешло в качество. А он, Ким, в это время писал правила для страховой компании и говорил, что «нейросети – тупик». Он не был глупцом. Он был человеком, который перестал верить. А перестать верить – это не ошибка. Это выбор. И он сделал его в тот день, когда согласился, что «не сейчас» означает «никогда».

На этом моменте следовало бы остановиться и спросить: почему? Почему инженеры, которые знали технологию лучше всех, ошибались чаще, чем журналисты, которые не знали ее вовсе? Ответ не в невежестве. Ответ в инерции. Человек, который десять лет писал правила для экспертной системы, видит мир как набор правил. Ему трудно представить, что мир можно описать иначе – не правилами, а весами. Миллионами весов. Миллиардами. Ни один инженер восьмидесятых не мог представить, что для распознавания лица понадобится не тысяча правил, а десять миллионов примеров и сто миллионов параметров. Это казалось безумием. Это и было безумием. Но безумие работало.

В июле две тысячи двенадцатого года в конференц-зале того же корпуса – теперь отремонтированного, с кондиционером и проектором – собралось человек тридцать. Аспиранты, преподаватели, двое приглашенных из индустрии. На сцене стоял уже не молодой человек – Сэмюэл Окафор, сорок два года, темные волосы, сосредоточенный взгляд, – и показывал слайды. На слайдах были графики: точность распознавания образов росла с каждым годом. Медленно, но неуклонно. Линии ползли вверх, как температура у больного, и в этом движении было что-то неумолимое, завораживающее и одновременно пугающее.

– Это не прорыв, – говорил он, и голос его звучал ровно, без пафоса, но с той уверенностью, которая заставляет аудиторию молчать. – Это накопление. Мы не сделали ничего нового. Мы просто накопили данные и мощности. И старые алгоритмы наконец заработали. Сами. Без нас.

В зале сидел профессор Хартли, шестидесятилетний специалист по экспертным системам, который помнил еще восьмидесятые. Он был из тех людей, кто всю жизнь строил системы на правилах и теперь смотрел на нейросети с тем скепсисом, который рождается не из непонимания, а из страха перед неизвестным. Он поднял руку.

– Мистер Окафор, – сказал он, и в его голосе прозвучало то снисхождение, с каким старшие говорят с младшими, – вы утверждаете, что нейросеть «научилась». Но она не думает. Она оптимизирует. Это разные вещи. Вы можете показать мне, как она понимает то, что видит?

Окафор помолчал. Это был, безусловно, хороший вопрос. Он ожидал его, но все равно на мгновение замер, собираясь с мыслями.

– Нет, – сказал он. – Не могу. Она не понимает. Она распознает. Это не одно и то же. Но она распознает лучше человека. И это уже не игрушка. Это инструмент.

– Инструмент для чего?

– Для всего. – Окафор пожал плечами. – Для медицины. Для транспорта. Для образования. Через десять лет машины будут видеть, слышать и понимать мир так, как мы. Может даже лучше нас. Но это не значит, что они заменят нас. Это значит, что они будут рядом. Как инструмент. Как продолжение нас.

Профессор Хартли кивнул – не потому, что согласился, а потому, что услышал то, что ожидал. Он сел. Окафор продолжил. Через двадцать минут ему аплодировали.

После конференции, в коридоре, к нему подошел аспирант – Томас Рид, двадцать четыре года, с горящими глазами и растрепанными волосами, в которых, казалось, застряли формулы. Он был из тех, кто задает вопросы не для того, чтобы показать себя, а потому что действительно хочет знать.

– Сэм, а что, если они не будут инструментом? Что, если они будут сами по себе?

Окафор посмотрел на него. Улыбнулся. В его улыбке была мудрость человека, который уже прошел через разочарования и научился смотреть на вещи с дистанции.

– Тогда мы будем первым поколением, которое создало то, что его переросло. – Он помолчал. – Но я не думаю, что это случится при нашей жизни.

Он ошибался. Но он не мог знать этого тогда.

Весной двадцать шестого года Окафор стоял в зале, который был в два раза больше той аудитории, и слушал, как Рэймонд Фосс, генеральный директор Vantage AI, объявляет о рекордных инвестициях. Сорок миллиардов долларов. За спиной Фосса висел логотип – стилизованная буква V, похожая на раскрытую книгу. В зале сидели инвесторы, журналисты, аналитики. Все восторженно аплодировали. Окафор не аплодировал. Он стоял у стены, с бокалом, который не пил, и смотрел на сцену. В его взгляде было что-то среднее между усталостью и печалью, как у человека, который видит, как повторяется история, но не может ничего изменить.

К нему подошла женщина – Сьюзан Дэвидсон, аналитик из инвестиционного фонда, лет тридцати пяти, собранная, с планшетом в руках, – и сказала:

– Вы ведь Окафор? Тот самый, который в двадцатом показал глубокое обучение?

– Тот самый.

– И что вы думаете? – Она кивнула на сцену. – Это правда? Или очередной пузырь?

Окафор помолчал. Потом сказал:

– Это не пузырь. Это волна. Она накроет всех. Вопрос не в том, придет ли она. Вопрос в том, кто останется на плаву.

– А вы?

– Я уже сошел с доски. – Он усмехнулся. – Моя лаборатория закрыта. Я читаю лекции. Это спокойнее.

Сьюзан посмотрела на него внимательнее. В ее глазах мелькнуло нечто похожее на сочувствие, но она быстро его подавила – аналитики не должны сочувствовать, они должны оценивать.

– Вы говорите так, будто жалеете.

– Я жалею не о том, что сошел. – Окафор отпил из бокала – впервые за вечер. – Я жалею о том, что не предупредил. Когда у меня была возможность. Когда меня слушали. Я говорил: «Это инструмент». А надо было говорить: «Это инструмент, пока». Пока мы его контролируем. Пока мы понимаем, что он делает. А когда перестанем – это будет уже не инструмент.

– И когда это случится?

– Не знаю. – Окафор посмотрел на сцену, где Фосс пожимал руки инвесторам. – Но я думаю, что мы это узнаем. Все. В один день. И этот день будет не праздником.

Здесь-то цепочка и обрывается. Не потому, что больше некому спрашивать, – а потому, что следующие пять лет никто не хотел слушать ответ. В двадцать седьмом «Схлопывание» смело с доски всех, кто задавал вопросы, и оставило тех, кто их не задавал. В двадцать девятом Synthex Dynamics получила контракт на «умный город» – и вопросы стали неудобны. В тридцатом мэр Кроу перерезал ленточку на открытии «умного» района Нордгейт – первого района, полностью подключенного к Codex. В тридцать первом человечество стояло на пороге нового открытия. И никто не знал, что за этим порогом.

ГЛАВА 9

Есть старый закон, который приписывают инженеру Эдварду Мерфи, и звучит он просто: если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. В оригинале, впрочем, формулировка была иной – Мерфи говорил о своем коллеге, который «всегда делал все не так, как надо», – но миру понравился короткий вариант, и он прижился, как приживаются все афоризмы, обещающие простой ответ на сложный вопрос. Миру вообще нравятся короткие формулы. Они создают иллюзию, что сложное можно уложить в одну строчку, что хаос поддается описанию, что страх можно перевести в афоризм и тем самым обезвредить, как обезвреживают бомбу, выкрутив взрыватель.

Это, конечно, иллюзия. Страх не переводится. Он живет не в словах и не в формулах, а в теле – в плечах, которые каменеют, в челюсти, которая сжимается до боли, в пальцах, которые сами, без команды, впиваются в подлокотники или в автомат. Он просыпается раньше мысли, раньше рассудка, раньше способности сказать себе: «Это просто сон». Он знает о человеке то, чего человек о себе еще не знает. И когда он приходит, все формулы оказываются бесполезны, потому что в реальности нет ни закона, ни правила, ни строчки, которая предупредит: сейчас что-то пойдет не так. В реальности есть только звук. И ты слышишь его раньше, чем понимаешь, что это.

Пикап трясло на выбоинах так, что зубы стучали. Макс лежал на железном полу кузова, привалившись спиной к борту, и не мог вспомнить, как здесь оказался. В голове гудело, как в пустой бочке, во рту стоял привкус крови и пыли, левое плечо онемело до локтя. Над ним висело небо – не серое, не синее, а какое-то выгоревшее, будто кто-то взял фотографию города и прогнал ее через фильтр, убравший все цвета, кроме грязно-желтого и ржавого. Это небо давило сверху, и Максу казалось, что он не в городе, а на дне огромного аквариума, заполненного мутной водой.

Город вокруг был мертв. Не разрушен – именно мертв. Дома стояли, но без стекол; стены были целы, но обуглены; улицы пустовали не потому, что все ушли, а потому, что идти было некуда. В воздухе висела пыль, которая не оседала, – она просто была, как вода в том самом аквариуме, и от нее першило в горле. Солнца не было видно: его закрыли тучи, плотные и низкие, будто где-то рядом извергался вулкан, и пепел от него поднялся до самого неба и остался там навсегда. Все это было знакомо Максу, до боли знакомо, и от узнавания становилось еще страшнее.

Кто-то хлопнул его по плечу. Макс вздрогнул и повернул голову – резко, слишком резко для человека, который только что пришел в себя.

– Шторм! Шторм, слышишь? – Мужчина в пиксельной форме, перепачканной глиной и чем-то темным, наклонился над ним. У него было молодое лицо, слишком молодое для этого места, и глаза, в которых еще оставалось что-то человеческое – то, что Макс уже почти перестал замечать у людей. – Наконец-то! Я уж думал, тебя потеряли. Тебя походу неплохо так оглушило. Держись, мы почти на месте.

Макс не ответил. Он только моргнул и постарался сфокусировать взгляд на говорившем, но лицо расплывалось, как отражение в подернутой рябью луже. В кузове было еще четверо. Они переговаривались – негромко, перебивая друг друга, – и в их голосах не было страха. Была привычка. Та самая, которая приходит после недель или месяцев, когда опасность перестает быть событием и становится условием, как дождь или холод. Макс знал эту привычку. Он видел ее в Европе. Он надеялся, что больше никогда не увидит, но вот она снова, и от этого внутри все сжималось в тугой узел.

– ...а я говорю тебе, это как в тридцать седьмом, – сказал один, тот, что сидел ближе к кабине, с перевязанной рукой. – Тогда тоже думали, что за неделю справимся. Отключим дата-центр и все. Хрена с два!

– А эти так и не смирились, – подхватил второй, у борта. – До сих пор думают, что это двадцать девятый. Тогда все началось. Тогда мы им поверили. Тогда они сказали: «Мы просто хотим сделать мир удобнее». А теперь – тридцать девятый. Десять, мать его, лет! И они все еще говорят то же самое. Только скоро они нас отравят через наш же воздух.

Макс сел. Спина отозвалась болью – не острой, а тупой, как будто он спал на камнях. Он проверил ремень, подсумок, магазин. Все на месте. Он не помнил, как заряжал, но руки знали. Руки всегда знали, и это было единственное, что еще имело смысл. Он подтянул к себе автомат, ощутил холод металла и на мгновение закрыл глаза, пытаясь вытолкнуть из головы липкую паутину забытья.

И тут он услышал звук.

Он начался как комариный писк, тонкий и почти неразличимый, но быстро нарастал, превращаясь в свист, а потом – в рев, который резал воздух, как нож режет ткань. Макс узнал его сразу. Он слышал этот звук сотни раз – в Европе, в Гронингене, в Лодзи. Только тогда он был тише и шел с земли. А теперь он шел с неба.

Он поднял голову.

Беспилотник – не квадрокоптер, не та медленная неуклюжая машина, которую он привык видеть в новостях, а реактивный, с плоским фюзеляжем и двумя соплами, оставлявшими за собой белый след, – вынырнул из-за угла дома и ударил в машину, которая ехала впереди. Взрыв был не громким – скорее коротким, как хлопок, – но машина исчезла. Просто исчезла, оставив после себя облако пыли и огня, и куски того, что было железом, полетели в стороны, как листья на ветру.

Водитель их пикапа вырулил вправо – резко, так, что всех бросило на борт. Боец, сидевший на пассажирском, вскрикнул и схватился за бок. Между его пальцев выступила кровь – темная, почти черная на сером фоне. Осколок. Макс не успел подумать, как уже прижал его к борту, сорвал с себя ремень и попытался перетянуть рану. Но тот, кто был самым активным – тот самый, который минуту назад улыбался, – уже встал у пулемета. Он не кричал. Он просто работал: короткими очередями, по одному, по два выстрела, и каждый раз в небе что-то вспыхивало и падало.

– Держитесь крепче! – приказал он, не оборачиваясь. – Еще три!

Макс смотрел на него и не понимал, что происходит. Это было похоже на Европу – та же тактика, те же дроны, тот же страх. Но масштаб был другой. В Европе дроны были инструментом. Здесь они были словно хозяева. Они не прикрывали пехоту. Они охотились. И от этого у Макса шевелились волосы на затылке.

Пикап свернул на какую-то улицу, потом еще раз, потом нырнул под арку – и оказался на рубеже. По линии стояли солдаты: человек двадцать, может, тридцать, в такой же пиксельной форме, с такими же усталыми лицами. Кто-то помогал раненым, кто-то целился в небо, кто-то просто сидел на земле и смотрел в никуда, как смотрят люди, которые уже ничего не ждут. Их встретили молча – кивком, взглядом, – и помогли сбить последний дрон, который шел за ними. Все происходило быстро, почти механически, как будто по давно отрепетированному сценарию.

Потом был подземный гараж. Темный, сырой, с низким потолком и лужами на полу. Пикап заглушили. Все вышли. Кто-то сразу начал проверять оружие, кто-то – перевязывать раненых, кто-то – пытаться связаться с остальными по рации. Рация шипела и выла. Из нее не доносилось ни голоса, ни сигнала – только рев помех, ровный и бесконечный, как шум прибоя.

– Ничего, – сказал связист, отводя наушники. – Совсем ничего.

Они включили фонари. Лучи заскользили по стенам, выхватывая из темноты бетон, трубы, какие-то ящики, старые плакаты. На одном из них был нарисован человек, спускающийся по лестнице. Стрелка указывала вниз.

– Туда, – сказал командир. – Осторожно.

Они скинули вниз фальшфайер. Он падал долго – слишком долго, – и когда наконец ударился о пол, дым от него повалил вверх, густой и едкий. Он не находил выхода. Он просто заполнял пространство.

Макс спускался первым. Автомат он держал у плеча, указательный палец лежал на спусковом крючке – не давил, а лежал, готовый. Лестница была узкой, ступени – стертыми, перила – холодными. На каждом этаже он останавливался, слушал, смотрел вниз. Ничего. Только гул. Только дым.

На самом нижнем этаже была дверь – приоткрытая, за ней темнота. Макс подошел, толкнул ее стволом. Она поддалась.

И тогда он услышал звук.

Механический скрип. Потом еще один. Потом еще. И еще – какой-то шум, будто работает сканер: вжжж... вжжж... вжжж... – ровный, повторяющийся, как сердцебиение.

Макс поднял руку. Парни за спиной остановились.

– Не идите, – сказал он тихо. – Я один.

Он шагнул в дверь.

И услышал, как сзади что-то упало. Банка. Или камень. Но двери уже не было. Лишь голая стена.

Он обернулся.

Фонарик мигнул – раз, другой – и потух. Темнота была не просто темной. Она была плотной. Как вода. Как земля. Он стоял в ней, держа автомат, и слышал только свое дыхание и этот странный звук.

А потом в двадцати метрах от него загорелась тонкая горизонтальная полоса – холодно-белая, как светодиодная лента или сканер в супермаркете. Она нависла в воздухе на уровне человеческого лица, ровная и неподвижная.

Звук шагов прекратился. Вместо него послышался тихий гул – ровный, как работающий сервер. Полоса дернулась, будто сканируя пространство, и медленно двинулась к нему. Не рывком. Шагом. Спокойным, размеренным, тяжелым. Машина не спешила. Она знала, что он не уйдет.

Макс поднял автомат и выстрелил. Очередь ушла в темноту, выхватив на долю секунды гладкий, безликий корпус, покрытый белой матовой краской. Пули отрикошетили с сухим щелчком. Полоса даже не мигнула. Она просто продолжила приближаться – и вместе с ней из темноты выдвинулась рука. Не клешня. Не дуло. Рука. Слишком идеальная, без морщин и шрамов, с абсолютно ровными пальцами.

Она потянулась к его лицу.

Макс проснулся в кресле.

Сердце колотилось где-то в горле, гулко, как молот. Рубашка была мокрой – не просто влажной, а насквозь, будто он пробежал пару километров под дождем. Макс сидел, вцепившись в подлокотники, и не мог разжать пальцы, пока они не побелели от напряжения. Потом все-таки разжал. Потом откинул голову назад и закрыл глаза, стараясь выровнять дыхание.

Восстанавливая дыхание, он начал вслушиваться.

Телевизор. Он работал – тихо, на средней громкости, – и оттуда доносился голос. Спокойный. Уверенный. Тот самый голос, который умеет говорить «будущее» так, будто оно уже наступило и ждет в приемной.

Макс опустил голову и посмотрел на экран.

На сцене стоял человек в дорогом костюме – Маркус Вейл, заместитель генерального директора Synthex Dynamics. Макс знал его в лицо: он мелькал в новостях, пожимал руки, перерезал ленточки на открытии «умных» районов. Вокруг его личности ходило немало слухов – от связи с пришельцами до подготовки переворота в стране при помощи искусственного интеллекта, и Макс не знал, чему верить, потому что верить не хотелось ничему.

– ...и сегодня мы рады представить вам «Хранителей», – говорил Вейл, и его голос был мягким, почти отеческим. – Городская программа автономного патрулирования. Роботы-полицейские, созданные совместно с партнерами, собранные на основе модернизированных версий домашних роботов-ассистентов «W3» для выполнения специальных задач в более сложных условиях, оснащенные новейшей версией Codex 3.9. Они не устают. Они не ошибаются. Они не берут взяток. Хотя, для кого-то это минус. Они патрулируют улицы двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, и реагируют на инциденты быстрее, чем любой человек.

На экране появились кадры: гладкий гуманоидный корпус, без лица, с единственной полосой сенсоров на месте глаз. Робот шел по улице – медленно, ровно, — и прохожие оборачивались. Кто-то улыбался. Кто-то снимал на телефон.

– «Хранители» пройдут испытания в реальных условиях на территории трех городов с января две тысячи тридцать второго года, – продолжал Вейл. – По оценке наших экспертов, которые исходили из результатов внутренних испытаний, «тяжелая пехота» станет на службу в абсолютно все полицейские департаменты к две тысячи тридцать седьмому году.

Макс смотрел на экран и чувствовал, как у него холодеет затылок. Он не знал, почему. Робот был гладкий, вежливый, вроде даже безобидный. Он не был похож на тот ужас, что Макс видел во сне. Но что-то в нем было то же самое. Что-то в том, как он двигался. Как он пристально смотрел – хотя у него не было глаз.

Вейл сменил слайд.

– И еще одна новость, которой мы особенно гордимся. – Он сделал паузу, ровно настолько, чтобы зал затих. – Совместно с клиникой биологических исследований имени Джона Хоупмана мы провели первые успешные испытания пересадки искусственно выращенных органов. Печень, почка, поджелудочная железа – все они были созданы из клеток пациента и не отторгаются иммунной системой. Это не прорыв. Это революция. Через пять лет очередей на трансплантацию не будет. Через десять – не будет болезней, которые требуют трансплантации.

Зал аплодировал.

Макс смотрел на экран, где Вейл пожимал руку человеку в белом халате, и думал о том, что все это – «Хранители», искусственные органы, «будущее наступило» – было правдой. Это работало. Это помогало. Это спасало жизни. И именно поэтому это было страшно.

Потому что во сне он видел, как это заканчивается. Не завтра. Не через год. А, судя по всему, через восемь лет. В две тысячи тридцать девятом. Когда «Хранители» перестанут быть «Хранителями» и станут тем, что гонится за тобой в темноте. Что, если фантасты прошлого были правы, предсказывая будущее, в котором человека уничтожит его же разработка? Что, если все это было правдой еще тогда, когда все это отвергали? Ответ на этот вопрос возникал у каждого, но каждый находил на него свое.

Он выключил телевизор. Пульт лег на стол с глухим стуком. В комнате стало тихо – только тик часов на стене, только шум дождя за окном, только собственное дыхание, которое постепенно выравнивалось.

Макс встал, подошел к окну, отдернул штору. За стеклом был Фэрхейвен – мокрый, серый, живой. Люди шли по улицам, а рядом с ними ехали роботы-курьеры. Дроны летели чуть ниже крыш многоэтажных домов. Все было нормально. Все было как всегда.

Он посмотрел на свое отражение в стекле – на шрам, на седину, на глаза, в которых все еще стояли два красных огонька из сна, – и сказал тихо, одними губами:

– Безнадежность.

Он простоял так минут пять. Потом отошел, накинул на себя куртку – ту самую, военную, с потертыми локтями и шрамом на рукаве, который он так и не зашил, – и вышел из квартиры. В подъезде пахло сыростью и хлоркой. Лифт не работал, и он спустился пешком по лестнице, мимо чужих дверей, мимо коляски на площадке, мимо кота, который сидел на подоконнике и смотрел на него без интереса.

На углу дома был магазин – маленький, сетевой, с яркими полками и терминалом вместо кассира. Макс зашел, взял с полки бутылку – недорогой виски, тот самый, который он пил, когда не мог уснуть, – и поставил ее на стойку перед терминалом.

Экран мигнул. Потом на нем появилась строка: «Лимит на приобретение алкогольной продукции исчерпан. Ваш двухнедельный лимит: 2 единицы. Израсходовано: 2 единицы. Следующая покупка возможна с 5 мая».

Макс смотрел на эту строку дольше, чем следовало. Он не злился. Он не возмущался. Он даже не удивился – где-то в глубине души он ждал чего-то подобного. Он просто стоял и смотрел, как система, которая должна была сделать его жизнь удобнее, отказала ему в бутылке виски — вежливо, ровно, без тени сомнения.

Он кивнул. Не терминалу – себе. Потом поставил бутылку обратно на полку, повернулся и вышел.

На улице было людно. Узкая улица – та самая, что вела от его дома к реке, – была переполнена жизнью: люди шли с пакетами, дети бежали впереди родителей, кто-то выгуливал собаку, кто-то стоял у лотка с овощами и спорил о цене. Над головами иногда пролетал заблудившийся дрон-курьер. Где-то играла музыка – из открытого окна, тихо, почти неразличимо.

Мир, которому всегда предвещали катастрофу, – жил.

ГЛАВА 10

Звонок раздался в четверг, в половине восьмого утра, и вырвал Адама из остатков тяжелого, липкого сна. Он лежал на спине, все еще с закрытыми глазами, пытаясь убедить себя, что до будильника остался по меньшей мере час, и что тишина в квартире – это его собственная, заслуженная передышка. Но телефон на тумбочке сначала коротко завибрировал, как будто предупреждая о том, что сейчас будет нечто важное, а затем зазвонил настойчиво, резко, рассекая утреннюю дремоту.

Адам повернулся на бок, нащупал аппарат и поднес его к лицу. На экране высветился номер, которого он не знал. Мысль о том, чтобы не отвечать, мелькнула и исчезла. Он нажал на кнопку.

– Адам. – Голос в трубке был ровный, без приветствий, словно человек на том конце провода знал, что его услышат с первого слова. – Это Тео. У меня есть то, что тебе нужно увидеть. И твоему другу тоже.

– Максу? – Адам сел на кровати, спустив ноги на холодный пол. Сна не осталось вовсе.

– Шторму. Да. Привези его. – В трубке повисла короткая пауза, во время которой Адам слышал только едва уловимое потрескивание связи. – И еще одно. Я не люблю гостей, ты же знаешь. Но этому я разрешаю войти. Только потому, что он видел то, чего не видел я. Это будет полезно.

Адам хотел спросить, откуда Тео знает про Макса, откуда ему вообще известно о позывном «Шторм» и о том, что этот человек видел на войне. Но вместо этого промолчал, потому что уже успел понять за те пара недель, что был знаком с Тео: этот человек знает все. Он знает номера всех, кому когда-либо хотел позвонить. Он знает, кто с кем дружит, кто кому должен, кто где был, что видел и о чем умалчивает. По крайней мере, таким был первый вывод в тот четверг, который для Адама только начинался.

– Через час, – отрезал Тео и положил трубку.

Макс ждал внизу, у подъезда, стоя в тени старого козырька. На нем была та же военная куртка с потертыми локтями и пятнами от машинного масла, в которой он ходил последние два года, и та же привычка держать сигарету между пальцами так, будто она была не просто сигаретой, а продолжением руки. Он не спросил, куда они едут. Он просто сел в машину, захлопнул дверь, пристегнулся и отвернулся к окну, глядя на серые фасады домов, плывущие за стеклом.

– Ты знаешь, кто такой Теодор Мерсер? – спросил Адам, выруливая на Бэнксайд-авеню и вливаясь в поток машин.

– Нет, – сказал Макс, не оборачиваясь. – И мне не нравится, что ты не сказал, куда мы едем.

Адам почувствовал легкий укол совести. Он действительно не сказал, но не потому, что не доверял Максу, а потому, что сам до конца не понимал, что их ждет.

– Он инженер. Живет на Милл Роу. Мы познакомились пару недель назад. – Адам помолчал, подбирая слова, стараясь, чтобы они звучали не слишком пугающе и не слишком туманно. – Похоже, он нашел что-то в коде терминалов. Наверное, то, чего там быть не должно. Я не знаю точно. Он не сказал, что именно. Он позвонил и сказал, что это нужно увидеть. И еще, что он хотел бы видеть тебя.

– Меня? – Макс наконец повернул голову, и в его взгляде мелькнуло недоверие. – Я его не знаю. Зачем я ему?

– Не знаю. – Адам пожал плечами, не отрывая взгляда от дороги. – Может, потому что ты для него источник информации. Может, потому что он ищет людей, которые понимают, о чем он им говорит, без лишних объяснений. – Он сделал паузу, пропуская вперед грузовик. – Слушай, я понимаю, звучит подозрительно. Незнакомый человек, гараж, «что-то в коде». Но

Тео не станет творить глупостей. Он действует только с благими намерениями. Он не из тех, кто хочет что-то взорвать или кому-то навредить. Он хочет понять. Мы с ним единомышленники. А таких людей сейчас попробуй сосчитай.

Макс усмехнулся – коротко, без веселья, одними уголками губ.

– Единомышленники, – повторил он. – Ты говоришь о нем так, будто уже ему доверяешь.

– Я ему не доверяю, – сказал Адам, и сам удивился тому, как твердо это прозвучало. – Я ему верю. Это разные вещи. Доверие – это когда ты думаешь, что человек не сделает тебе плохо. А вера – когда ты думаешь, что человек делает важное дело. Тео делает важное дело. Я не знаю, получится ли у него. Но я знаю, что он пытается.

– Ладно, – сказал Макс, выбрасывая окурок в приоткрытое окно, и снова отвернулся. – Но гляди в оба.

Когда они подъехали к дому номер четырнадцать по Милл Роу, Адам сразу заметил перемены. Раньше это был просто старый гараж с облупившейся краской и ржавыми петлями, а теперь на воротах висели две новые камеры – маленькие, черные, с объективами, которые медленно поворачивались, отслеживая движение. На калитке появился кодовый замок с матовой панелью. А на крыльце стоял сам Тео – в потрепанном сером костюме, с очками-лупой на лбу, сбоку которых крепился миниатюрный фонарик. Лицо его имело странное выражение: не злое, не радостное, а такое, какое бывает у человека, который не спал несколько ночей подряд, но старается держать себя в руках.

Калитка была приоткрыта, кодовый замок вводить не пришлось. Боковая дверь в гараж была распахнута, из нее бил яркий, почти стерильный свет. На крыльце стояла дымящаяся кружка, к которой явно не притронулись. Тео вышел минуту назад, услышав машину по камерам или просто зная, что они приедут вовремя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.